

ВСЕМИРНАЯ ЛИТЕРАТУРА



САМИ ПАША-ЗАДЭ СЕЗАИ

СЕРГЮЗЕШТ



**ГОСУДАРСТВЕННОЕ
ИЗДАТЕЛЬСТВО**

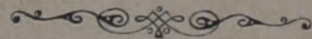


ВСЕМИРНАЯ ЛИТЕРАТУРА

ТУРЦИЯ

ИЗБРАННЫЕ СОЧИНЕНИЯ

САМИ ПАША-ЗАДЭ СЕЗАИ



ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО

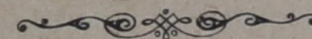
ВСЕМИРНАЯ ЛИТЕРАТУРА

САМИ ПАША-ЗАДЭ СЕЗАИ

СЕРГЮЗЕШТ

КЮЧЮК ШЕЙЛЕР

ПЕРЕВОД И
ПРЕДИСЛОВИЕ
Е. Э. БЕРТЕЛЬСА



ПЕТЕРБУРГ — МСМХХІІІ — МОСКВА

Настоящее издание отпечатано в
типографии Первой Петроградской
Трудовой Артели Печатников (Мо-
ховая, 40) в количестве 5150 экз.
Петрооблит № 4087.—Гиз № 4648.

ПРЕДИСЛОВИЕ

Современная турецкая литература публике совершенно неизвестна. Да это и не удивительно, ибо даже и среди ученых специалистов литература эта пока особого внимания не удостоилась. Книгохранилища, которые могли бы иметь новую турецкую беллетристику, таковой обыкновенно не имеют: считается, что их задача—собирать произведения научные и художественные прошлых столетий. Изучающие турецкую литературу современной беллетристикой гнушаются, считая ее подражанием западным образцам, чем-то слабым и несамостоятельным.

Таким образом, знакомство с этой литературой до сих пор носило и носит чисто случайный характер. Подвернется под руку соответствующая книга, ее прочитают от нечего делать, между серьезной работой. Окажется случайно, что это одно из тех слабых произведений, которыми столь обильна юная турецкая литература, и пренебрежительный отзыв о ней создан и пошел дальше, отнимая у других желание более тщательно ознакомиться с этой неизвестной величиной.

А на самом деле все это не так. Правда, современная турецкая литература еще молода, неопытна и находится в стадии подражания своим европейским учителям, но то, что мы уже получили от нее до сих пор,—верный залог будущего блестящего подъема. Не будем забывать, что и наша собственная, русская литература тоже начала со слепого подражания западным образцам и в течение нескольких столетий не только сравнилась с ними, но дала такие произведения, для которых на Западе даже трудно подыскать мерку,—говорим о романах Толстого и Достоевского.

Турецкая,—скажем точнее „османская“ литература, ибо мы будем говорить только о западной ветке ее, оставив в стороне и творчество среднеазиатских турков и новые веяния среди казанских и азербейджанских татар,—зародилась в конце XIII века под влиянием достигшей высокого развития персидской культуры. Персидский мистицизм перебросился на турецкую почву, понадобилось создать мистические

произведения и на своем собственном, бедном языке, и вот грубый язык степных кочевников приспособливается для передачи утонченных мыслей и утонченных литературных форм своих культурных соседей.

Путь был проложен. История толкнула Турцию на подражание Персии. И турецкий народ вплоть до середины XIX века остался верен своим учителям. Сменялись литературные школы в Персии, появлялись новые темы, и все это тотчас же с фотографической точностью отражала и турецкая письменность. Подражание заходило так далеко, что не только самый круг мыслей и форма, в которой они выражались, были заимствованы от соседей, но даже самый язык подвергся коренному изменению. Иностранные слова заполнили поэзию, целые обороты, совершенно несвойственные духу турецкого языка, самым насильственным образом вплетались в турецкую речь.

Кончилось все это тем, что литературный язык выработал себе свое собственное „арго“, своего рода жаргон, совершенно непонятный простому люду. Понимать турецкую поэзию сделалось уделом только высокообразованных людей, помимо родного языка свободно владевших арабской и персидской речью и знакомых со всей безмерно сложной системой персидско-арабской элоквенции.

Так продолжаться не могло, и молодая Турция произвела революцию в этой области, единственной области, в которой строгий абсолютизм османских правителей не был заинтересован и в которой поэтому с государственной точки зрения новшества были дозволимы.

Отрешенный от литературной жизни „избранных“, народ, конечно, не мог обойтись без какого бы то ни было литературного творчества. Врата изящной литературы для него были закрыты, надо было творить самим. Этот пробел заполнили народные рассказчики или „меддахи“. Их можно наблюдать в Турции и до наших дней. Зайдите в уединенное кафе где-нибудь в дебрях переулков Стамбула и сядьте с неизбежной чашечкой кофе. Не пройдет и нескольких минут, как откуда-нибудь появится этот „меддах“ и соберет вокруг себя толпу праздных людей. Турки не очень ценят время; сидеть целыми часами ничего не делая, обмениваясь ничего не значащими фразами, — для них наилучшее времяпрепровождение. Конечно, меддах найдет себе слушателей сколько угодно. Рассказ тянется часами, и приключения рыцарей прошлого, и волшебные фантазии „Тысячи и одной ночи“, и забавные проделки народного героя ходжи Насир-ад-Дина — все это перемешано в пестром потоке, изрядно одобренном довольно-таки рискованными остротами. Стесняться нечего, — ведь своя мужская компания, женщин нет, а пикантная шутка прекрасно награждается и дружным смехом, да и более реальными доказательствами одобрения. Дойдет эта современная Шехеразада до самого животрепещущего места своего рассказа, и повествование прерывается... на сцену появляется тарелочка для сбора пожертвований. Жертвуй рассказчику,

или умри от любопытства. Звенят стертые медяки, порой даже непохожие на настоящие деньги, — дальше течет замечательный рассказ...

Молодая Турция желала приспособить свой народ для восприятия западной культуры, сравнять его с европейцами, грозившими окончательно оттеснить и задушить все остановившееся на пути развития, застывшее в формах средневекового Ислама. Прообразом для литературы явилась Франция, куда турецкая молодежь ездила пополнять свое образование и откуда выносила довольно основательное знакомство с наилучшими образцами французской письменности; материалом для создания собственного стиля, своего языка — послужил выработанный меддахами простой, естественный, подходивший для увлекательной передачи сюжета язык.

Одним из первых, кто отважился выступить перед турецкой публикой с, так сказать, зафиксированными и облагороженными повестями меддаха, был Ахмед Мидхат, родившийся в 1841 году. Его „Забавные истории“ (около 25 томов), правда, литература не высокой марки но по новизне, по увлекательности сюжетов, замысловатости интриг и положений ему трудно найти соперника. За ним на арену литературной борьбы ринулся целый ряд поборников западного просвещения, и в настоящее время молодая турецкая литература уже насчитывает сотни томов, с которыми приходится серьезно считаться.

Сезаи — роман которого ныне впервые появляется в переводе на европейский язык — один из наиболее талантливых представителей всей этой группы. Дать о нем биографические сведения, конечно, совершенно невозможно, в виду отсутствия каких бы то ни было материалов. Начал он свою литературную карьеру с нашего романа „Сергюзеит“ (1887), где сразу показал свое умение увлекательно рассказывать и свою тонкую наблюдательность. За ним последовал сборник небольших новелл: „Ключик шейлер“, „Пустячки“ (1891), тонких изящных вещей, полных столь свойственного турецкому народу живого, непосредственного юмора.

На Сезаи мы можем наблюдать, как преломились в его мировоззрении литературные течения современной Франции и как на ряду с этим и свое национальное достояние не заглохло, не угасло в пустой подражательности, а осталось звучать мощным основным тоном во всей его деятельности. Правда, отголоски Франции все время не переставая звучат в его романе. Франция — его учитель, представитель современного прогресса, всех тех идей, которые так дороги передовым людям современной Турции, всеми силами стремящимся поднять свой народ до уровня материальной и духовной культуры Запада. Возьмите его описания природы, прерываемые лирическими отступлениями, в роде, например, той сцены, где несчастная измученная своими угнетателями маленькая рабыня идет искать свою мать среди пустынных развалин старого Стамбула. Эта сцена воскрешает

начало „Человека, который смеется“. То же противопоставление несчастного маленького человеческого существа страшной, таинственной ночной природе, те же лирические отступления и патетические восклицания. Только колорит изменился, да вместо иронического французского духа мы видим перед собой более примитивную, честную душу турка, не стесняющегося своих сердечных порывов и поэтому не раз впадающего в немножко слишком слезливую для нашего вкуса сентиментальность. Не даром на страницах нашего романа не раз упоминается имя „великого Гюго“.

То же иноземное влияние чувствуется и в одной из двух центральных фигур романа, молодом художнике Джелаль-бее, при чем здесь это влияние повлекло за собой весьма характерную для молодой Турции раздвоенность. Сезаи, несомненно, человек начитанный и хорошо знакомый с современной литературой если не Запада вообще, то, по крайней мере, Франции. Ему постоянно приходилось видеть, как мы, европейцы, идеализируем в мужчине принцип деятельности, решительности. Раз это идеальная черта и раз Джелаль-бей должен был явиться идеальным типом, конечно, необходимо было украсить его и соответствующими качествами. И вот всюду, где Сезаи дает характеристику своего героя, он упорно настаивает на этой черте, с упорностью прямо-таки подозрительной. В самом деле, по утверждениям автора, Джелаль должен был быть человеком отважным, решительным, деятельным „римлянином“, как говорит о нем автор, но по поступкам его читатель, к сожалению, должен притти к совершенно обратному результату. Вся эта пресловутая решимость, вся энергия на деле — просто фраза. Джелаль-бей человек мечтательный, нерешительный до последней степени, образец изнеженного гаремным воспитанием слабохарактерного турка-аристократа. Чем же объяснить такого рода явление? Почему оценка творца самого типа не совпадает с нашей оценкой?

Мне кажется, что причины этого сокрыты довольно глубоко, в самых подводных течениях турецкой современности. Это раздвоение, может быть, единственный свидетель в пользу того, что современная турецкая литература вовсе не порвала связи со старыми литературными традициями, а лишь забыла о ней, лишь инстинктивно продолжает держаться за то самое, отрицанием чего должна была бы быть...

Одной из излюбленных тем для романтической поэзии мусульманского Востока был роман о „Лейле и Меджнуне“. Тема эта неотразимо влекла к себе поэтов всех эпох и всех народов. В Персии эту тему обессмертил Низами в своей знаменитой „Пятерике“ (Хамеэ), в Турции ей не менее талантливый *pendant* дал курд Фузули, поэма которого и донныне пользуется большим распространением на Востоке. Тема эта в нескольких словах сводится к следующему.

Лейла и Меджнун — дети кочевых племен арабов — бедуинов. Случай сводит их вместе; еще детьми они страстно влюбляются друг в друга.

Меджнун от любви к Лейле становится безумным (что и обозначает его имя — бесноватый, одержимый духами). Сватовство его отца не имеет успеха, родители Лейлы выдают ее замуж за другого. Меджнун уходит в пустыню и ведет образ жизни отшельника, предается самому дикому, безудержному отчаянию, не ест, не пьет, дружит с дикими зверями и в конце концов от тоски умирает. Лейла в скором времени следует за ним. Самой характерной чертой для Меджнуна является то, что он все время неустанно ищет Лейлу, ищет всюду и везде, подчас самым нелепым образом. В „Разговоре птиц“, поэме Ферид-ад-Дина Аттара есть, например, такой рассказ о Меджнуне. Некто видит, как Меджнун сидит посреди дороги и копает пальцем в пыли: „Что ты делаешь?“ — спрашивают его. „Ищу Лейлу“, гласит ответ. „Безумец, да разве здесь может быть твоя Лейла?“ — „Почем знать, я ищу повсюду...“

Когда читаешь патетические страницы Сезаи, повествующие о том, как Джелаль-бей в безумии искал Дильбер, невольно вспоминается этот далекий образ старой восточной поэзии. Только-что нас окружал быт современного Константинополя с его претензиями на западную культуру, только-что перед нами стоял изящный, образованный молодой человек, вполне *distingué*, которому место в блестящем салоне Парижа, а не среди пыльных улиц Стамбула. И вдруг... как по мановению волшебной палочки скрылся весь этот налет западности, исчезла вся модернизация, перед нами тот самый Меджнун далеких веков, в своей безудержной, всесокрушающей, но не энергичной страсти. Меджнун готов на любую жертву для своей милой, но попать железный закон восточных традиций он даже не пытается, он покоряется своей судьбе и отводит душу только трогательными жалобами. Как и Джелаль-бей, целесообразных шагов для отыскания отнятой возлюбленной он не делает, все его поступки носят характер кратковременных вспышек, уступающих место полной расслабленности.

Меджнун погибает в своем отчаянии. Сезаи не говорит, что случилось с его героем, но по всему тону заключительного рассказа можно понять, что и тут Джелаль-бей последовал по стопам Меджнуна.

Шестивековая литературная работа не прошла бесследно. Была затронута столь характерная, столь дорогая Востоку тема, и невольно потянулись все привычные, с молоком матери впитанные ассоциации. Все западнические претензии посрамлены. Восток остался Востоком. С точки зрения художественной эта черта, конечно, относится к минам художественного произведения, но для того, кому хочется проникнуть в психологию современной османской культуры, эта, казалось бы, столь незначительная черточка открывает бездонные глубины.

Образ героини, молодой рабыни Дильбер, набросан тоже довольно неотчетливо; автор в пылу своей идеализации зашел так далеко, что,

в сущности говоря, живого, человеческого в его создании ничего и не осталось.

Но зато все побочные действующие лица—самая блестящая, самая интересная сторона романа. Дильбер служит как бы путеводной нитью, ведущей нас через самые различные слои турецкого общества, и все эти на несколько минут появляющиеся перед нами типы, от черкеса на Батумском пароходе, кончая старой комиссионершей, очерчены ярко, правдиво и талантливо. Мы видим турков, забывших свои старинные устои, устраивающих свой дом на французский лад, выписывающих для своих дочерей воспитательниц из Европы, видим и образ старушки, твердо держащейся за старинные нравы, красящей волосы хенной и копящей мелкую серебряную монету.

И как это ни странно, Сезаи, поборник просвещения, сторонник всего западного, с таким теплым, искренним сочувствием рисует нам этот образ. В этой старушке сосредоточены все положительные черты старо-османского строя. Искренняя, задушевная набожность, необычайная простота нравов соединены с живым, теплым участием ко всем обездоленным, с открытой прямоотой во всех поступках.

Мустафа-эфенди, первый хозяин Дильбер, напротив, олицетворение пороков старого строя: косности, жестокости, бесцеремонного отношения к своим служебным обязанностям и, хотя автор этого прямо не говорит (надо полагать, из боязни цензуры), незаконных поборов, говоря иначе, взяточничества, той самой черты, которая во все эпохи, во все времена заставляла стонать передовых людей османского государства.

Все эти второстепенные персонажи взяты прямо из жизни, и они живут перед нами, в них нет ни одной фальшивой черточки, все это ярко и правдиво. Дильбер и Джелаль-бей (настолько, насколько в нем не прорывается невольная мысль автора) надуманы, взяты из книг; понятно, что живости и яркости образов тут получить уже не удалось.

В Сезаи с невероятной отчетливостью сказывается основная характерная черта турецкого народа, столь резко отличающая его от Персии: объективность и наблюдательность. Даже в лирических местах автор упорно держится в стороне, дает читателю на нее посмотреть своими глазами, дать свою оценку.

Какая игра судьбы, что этот народ столетия должен был нести на себе гнет литературного влияния самого субъективного народа в мире, персов! Перс не только в лирике, даже в эпосе субъективен, он не дает нам рассказа о переживании других людей, он показывает только, как сам относится к чужим переживаниям. Турок, напротив, повсюду стремится к объективности, как это наиболее ярко сказывается в его народных песнях, свободных от рамок условности и по большей части дающих нам картинки природы, свободной от малейшей примеси субъективности.

Следует учесть еще один фактор новой османской литературы, это—легкий налет морализаторства. Современные писатели, это—люди, ушедшие вперед от своего народа, стремящиеся к слиянию с Западом, как мы видели это у Сезаи в довольно курьезном сочетании Султана-Завоевателя и Наполеона. Поэтому совершенно не удивительно, что они пользуются своим пером не только для художественных, но и для утилитарных целей. Морализаторство всегда находило отклик в восточных сердцах,—дидактических поэм на всех языках Переднего Востока необозримое количество. Таким образом и здесь старинное оружие служит для достижения новых целей.

В сущности говоря, „Сергюзешт“ представляет собой блестяще написанный трактат о равноправии человечества и ужаса рабства. Местами это выражено в словах, местами об этом должны говорить художественные образы. Однако, ратуя в пользу просвещенных взглядов Запада, Сезаи падит и старинные обычаи и уделяет несколько теплых слов в защиту обычая не выпускать женщин на улицу с открытым лицом.

Из всего сказанного явствует, что современная османская литература, как мы могли проследить на одном из лучших ее образцов, отнюдь не такое примитивное явление, как это обыкновенно принято думать.

Несколько слов о языке Сезаи. Выше я говорил о том перегружении османского персидскими и арабскими словами, какое наблюдалось в средние века. Молодая школа и в этом стремится к повороту. Язык тщательно очищается, все излишнее немилосердно истребляется. Зато появляются заимствования из французского и итальянского языков, заимствования, иногда идущие дальше простого включения в язык нового слова, но даже включения целых оборотов речи и конструкций фразы. Литературе приходится выражать столь новые, столь необычные мысли, что поневоле приходилось перестроить и язык. За образец, конечно, и тут были взяты те же учителя—французы.

Язык Сезаи чрезвычайно богат образами и сравнениями самых разнообразных свойств и видов. Прием этот не чужд и нашей литературе, но корень его, думается мне, и здесь не столько на Западе, сколько в родной старой литературе. Старая литература сравнение—„теших“—разработала в целую научную дисциплину, все предусмотрела, все соизмерила; новая сохранила любовь эту, но действует более непосредственно, руководствуясь только одним вдохновением и давая на ряду с избитыми и шаблонными образцами зачастую и новое и красивое.

Османская проза выработала себе свой собственный стиль,—пышных торжественных периодов, тянувшихся целыми страницами и подчас чрезвычайно затрудняющих понимание. Новое течение борется и с этим, стремится дать более живую, более плавную речь, но все же

нередко впадает и в прежнюю запутанность. Стиль Сезан тяжеловат, и чтение оригинала во многих местах довольно таки утомительно. Передать эту особенность его, конечно, не было ни малейшей возможности. Поэтому переводчику приходилось сплошь и рядом отходить от конструкции оригинала, разбивать на части слишком длинные предложения и давать речь более близкую к нашему пониманию художественной прозы.

Е. Бертельс

СЕРГЮЗЕШТ

(ПРИКЛЮЧЕНИЯ)

РОМАН

1877

I

Когда вышедший из Батума пароход «Русского общества» подошел к Топ-ханэ, несколько человек, с нетерпением ожидавших на берегу его прибытия, вскочив со стульев, бросилось на палубу. Один из них обратился к высокому, широкоплечему черкесу с редкими черными усами, одетому в длинную, доходящую до пят, черкесскую чоху и обычную папаху своего народа и стоявшему с серебряным хлыстом в руке:

— Добро пожаловать! Где девушки?

— Вот они.

— Сколько их?

— Три...

— Красивые?

— Взгляни на эти синие глаза, — ответил черкес, указывая на одну из рабынь: — за нее какой-нибудь паша отвалит целый клад...

Человек этот сел с черкесом в одну лодку, девушки — в другую, и лодки направились к пристани Топ-ханэ. Сидевший с черкесом чрезвычайно тучный человек был работоторговец, по имени Хаджи-Омар. Торговля людьми сделала его сердце безжалостным, и отблеск этой безжалостности, отсвечивая в его больших круглых глазах, придавал взгляду выражение свирепости. Помимо личной выгоды, которую давала ему торговля людьми, ничто, включая и страдания других, не производило на него ни малейшего впечатления, он не различал голоса чтеца от плача девушки, звука саза от мольбы бесценной красавицы о пощаде. В мире он свято считал только два явления: одним была висевшая на стене в его комнате плетка — эволюция кнута, принадлежности работоторговли, другим — беззащитность слабых существ, попадавших в его дом.

Сидя в лодке, он глядел большими круглыми глазами на черкеса, обмахивался большими, точно маленькие веера, ладонями и торговался о цене за рабынь. Дело не шло на лад, и его темное лицо приняло отталкивающее выражение. Черная его борода, поседевшая до грязного оттенка, и несколько глубоких морщин на его темном лице свидетельствовали, что ему от сорока до пятидесяти лет.

Из рабынь двум было около шестнадцати—семнадцати лет, две блестящие, пышные кавказские красавицы. Третья—маленькая девочка лет восьми, девяти; волосы ее ниспадали до бровей, рот у нее очень маленький; несмотря на круглые плечики, она казалась очень худенькой, луч сметливости в ее черных глазах придавал им безграничную прелесть. Это была картина, контуры которой были намечены мастерской рукой, но ей еще не хватало красок. Ее маленькие губки были бесцветны, волосы, из-за отсутствия ухода—редки, лицо от трудностей и тягот путешествия—бледно, и вокруг глаз—небольшие темные круги; во взгляде виднелось беспокойство птички, посаженной в клетку, во всем облике чувствовалась скрытая грусть. На этой маленькой девочке было длинное черкесское платье, застегнутое до самого низу, на голове—маленькая, старая шляпченка.

Лодки причалили к берегу, и девушек привели в какой-то дом, откуда навстречу им вышла жена работорговца.

— Эти две—хорошенькие, а маленькая девочка как-будто болезненная... Разве ты привел ее для того, чтобы оставить у себя?—спросила она.

— Я за нее не тысячу лир дал,—ответил Хаджи-Омар:—это как-раз такая девочка, какую просили в гарем Мустафы-эфенди на Юксек Калдырым.

В этом доме девушки по вечерам собирались в одну комнату и болтали друг с другом. Однако слишком много смеяться и болтать по черкесски было делом запретным, и если рабыня, выходящая к покупателю, по какой-нибудь причине ему не нравилась, она присуждалась к десяти или пятнадцати ударам плети.

Через несколько недель Хаджи-Омар сказал маленькой рабыне по-черкесски:—Эй, ты, вставай, пойдем...—Девочка со свойственной ей возрасту покорностью встала. Одна из подруг бросилась ей на шею, они расцеловались, на глазах у девочки навернулись

слезинки, указывавшие на душевное волнение. Однако она сейчас же с видом человека, не желающего выдавать свое смятение, схватила огромную лапу работорговца и вышла с ним из дому, горделиво нахмутив брови. Ее серьезное личико приняло выражение печали и задумчивости.

Они пошли. Девочка с величайшим изумлением смотрела на попадавшиеся навстречу коляски и трамваи. Когда они пришли на площадь Топ-ханэ, она увидела там множество детей, со смехом играющих вместе. Эти бегающие по земле существа, едва увидят сборище, испытывают величайшую потребность присоединиться к нему. Девочка, не давая себе отчета в желаниях, выходящих из сердца, вместилища всех чувств, инстинктивно направилась в их сторону. Однако тотчас же она услышала голос работорговца, широко раскрывшего свои большие, страшные глаза и бормотавшего:—Иди сюда... я сейчас достану плеть!—и медленно повернула назад. Взяв руку шедшего рядом с ней дикого гуля¹⁾, она в первый раз почувствовала себя стиснутой рабством, словно железной рукой. Они пошли дальше, не говоря ни слова. На мосту, она никак не могла оторвать глаз от стоящих по обе стороны пароходов. Они прошли несколько шагов дальше, как вдруг послышался звук пароходного гудка; девочку охватила дрожь, ибо отзвук того гудка, который она слышала в Батуме, расставаясь со своей родиной, до сих пор звучал в ее ушах. Перед нею на фоне синего неба громоздились друг на друга высокие горы, оттуда подул ветерок, пошевелил ее волосы и напомнил ей то, что она видела когда-то,—ее родную страну; это каким-то непонятным образом успокоило ее взволнованное сердце.

Перейдя мост, они шли мимо двух мечетей; какой-то ребенок, подняв мертвенно-бледное лицо, выражавшее страх и смятение, пробормотал по черкесски:—Я голоден...—Работорговец дернул девочку за руку так, что чуть не опрокинул ее, и, снова толкнув вперед, прикрикнул:—Иди!

Красивые, но почти бесцветные губы девочки дрожали. Поднимались вверх по склону; девочка ощущала острую боль в ногах, но от страха не решалась сказать об этом. Ноги ее заплетались, она готова была упасть, но все же шла дальше.

¹⁾ Демон пустыни, страшный и свирепый.

Наконец—слава Аллаху!—они вошли в кофейню около трамвайной остановки у мечети Баязида. Девочке, от усталости совершенно утратившей силы, плетеный стул доставил столько же удовольствия, сколько испытывает королева, восседая на царственном троне. Работорговец спросил хлеба и сыру. Девочка съела все это, выпила стакан воды, затем они сели в трамвай, доехали до Ак-Серая, оттуда по другой линии проехали дальше и спустились по Юксек Калдырым.

Работорговец постучал в дверь дома в переулке уеди ненного квартала. Солнечный свет с востока ярко озарял узенький переулок. От навеса над окнами верхнего этажа дома падала тень, лучи солнца, рассеивая мрак, проскальзывали сквозь решетки окон нижнего этажа, как-будто стараясь проникнуть внутрь дома. Из соседнего переулка вышел слепой и, стуча палкой по тротуару, запел газель:

— «Жемчуг уст твоих я вижу, и вина не надо мне...».

За дверью дома залаяла собака, по крыше соседнего дома бродило несколько кошек. Человек, проходя по этим переулкам, наблюдая тишину и спокойствие, царившее там, мог подумать, что совершил путешествие в отдаленное прошлое.

Дверь открыла прислуга-арабка и, воскликнув:

— Добро пожаловать, хаджи Омар-эфенди. Будьте добры...— пошла, доложила своей госпоже и провела пришельцев в ее комнату. В углу сидела женщина, голова ее была покрыта вуалью, густые черные брови в ширину пальца намазаны сурьмой; облик ее был груб и неприятен.

Работорговец, войдя в комнату, обратился к девочке:

— Ступай, поцелуй подол госпоже.—Маленькая рабыня подошла и хотела обнять ее, но та резко оттолкнула ее назад. Девочка с глубокой печалью отошла назад и села на диван.

Хаджи Омар резко крикнул:

— Как ты смеешь садиться на диван? Ты—рабыня! Вставай сейчас же!—а затем, обратившись к госпоже, извинился перед нею:

— Не обращайтесь внимания на ее неразумие. Она ведь персианка... Пройдет несколько дней, и вы перевоспитаєте ее как пожелаете...

Девочка с грустью и смятением повиновалась этому приказанию. Женщина начала ее ощупывать, находя в ней много недо-

статков, чтобы выторговать подешевле; служанка-арабка тоже подвергала девочку тщательному осмотру, приговаривая:

— Ах, госпожа, ни к чему она... слаба она... слаба... умрет наверно.

Обе стороны торговались из жадности и желания нажиться несколько часов и, наконец, сошлись на сорока лирах.

«Сей распиской моей удостоверяю, что рабыня-черкешенка, девяти лет от роду, вполне здоровая и без телесных недостатков, продана мною в гарем бывшего заведывающего финансовой частью провинции Харпут, Мустафы-эфенди за сорок османских лир и передана супруге помянутого лица.

Работорговец Хаджи-Омар».

Эту расписку Хаджи-Омар, благодаря приобретенному навыку, написал необычайно быстро, а затем покинул дом.

По приказанию госпожи, девочка покорно и спокойно спустилась со служанкой на кухню. Служанка начала готовить обед, а девочке поручила носить воду. Госпожа с величайшей строгостью следила за порядком в доме; она много кричала и очень легко приходила в ярость, хмурила брови, и в ее тусклых глазах сверкала жестокость, способная заставить расплакаться не только ребенка, но напугать даже взрослого человека. Только тогда, когда она обнимала свою дочь, двенадцатилетнюю Атиз, возвращавшуюся из школы, она проявляла мягкость и нежность—высокие чувства, присущие всем матерям.

Эти чувства были целиком обращены на дочь, помимо ее она не любила решительно ни одного ребенка, не была способна почувствовать сострадание. В молодости она видела свирепость мужа, который постоянно бил ее, его ревность превратила ее из нежной женщины в яростное животное; в последнее время она претерпела много неприятностей и волнений вследствие отставки мужа,—этой отставкой справедливое решение правительства наказало ее мужа за его порочность; все это, вместе взятое, сделало сердце женщины безжалостным и раздражительным.

Умственных занятий—этой истинной жизни—она не знала; образованием и воспитанием, необходимыми для того, чтобы стать истинной матерью,—не обладала, поэтому постоянно грызлась с прислугой, иногда жестоко избивая ее, и беспрестанно жаловалась на соседей.

Муж ее пропадал целые дни, занимаясь сдачей своих дел и отчетностью: вечером возвращался поздно, утром уходил рано.

Служанка, Таравет, положила в комнате над кухней, где она спала, узенький матрац, жесткую подушку и грязное одеяло. Девочка, устремив взор на слабый отблеск какого-то огня за окном в ветвях гранатового дерева, с прекрасной покорностью сказала:

— Доброй ночи,—натянула одеяло на голову и тотчас же погрузилась в глубокий, детский сон.

Рано утром, когда она открыла глаза, на гранатовом дереве против окна запела птичка. Между песней птички и душой ребенка есть какая-то связь. Девочка встала с кровати и прижалась лицом к стеклу, разглядывая птичку. Птичка как-то шевелила крылышками в лучах восходившего солнца. Когда она взлетала, на грудке переливались красные и синие краски, отблески зари, а садясь, становилась подобна только-что распустившемуся цветку. Девочку пробудил из этого бессознательного состояния резкий окрик Таравет:

— Сделай свою кровать.—Потом она дала девочке в руки метлу, показала какие комнаты надо подмести, что сделать, откуда принести наверх и в кухню воды. Ее назвали Дильбер.

Так изо дня в день Дильбер вставала ранним утром, сворачивала свой узенький матрац, мела комнаты и таскала наверх столько ведер воды, сколько было бы едва под силу и мужчине.

Однажды утром, прибирая верхние комнаты, она, увидав как играет Атиэ-ханум, тотчас же бросила метлу, подошла и присела возле нее. В то время, когда она с удивлением рассматривала игрушки, послышался голос гоёпожи:

— Дильбер, Дильбер!—Девочка осталась на месте. Увидев, что эта «подлая» хочет играть с барышней, она схватила Дильбер за ухо и потащила к брошенной метле.

— Ты что же дело бросила, играть собираешься?—воскликнула она, наградив девочку оплеухой.

Бедный ребенок! Плакать она не умела и снова принялась за свою работу. Каждое утро с тысячью мучений она справляла свое дело, получая при малейшей оплошности оплеухи и от ханум и Таравет. Жизнь, которая в этом возрасте для всех детей является золотым веком, ей начала казаться очень тяжелой и очень горькой. Это было видно по ее пожелтевшим щекам и совсем помутневшему

взору. Покончив с домашними обязанностями, она шла с Атиэ-ханум в школу, а вечером с сумкой в руках возвращалась домой.

Шли недели, месяцы. Девочка училась языку и со свойственной детям необычайной легкостью вскоре начала понимать и болтать по-турецки.

Сначала Атиэ-ханум хотела играть с ней, но затем, увидев как обращается с ней мать и Таравет, каждый раз, когда девочка подходила к ней, стала прогонять ее криком:

— Подлая девчонка... Вниз ступай!

В этой печальной жизни у Дильбер было только одно удовольствие—ходить в школу. Там она могла свободно болтать с детьми, так как никто из детей не попирает человеческого достоинства маленького существа, называя ее «подлой девчонкой». Училась необычайно старательно и не раз выслушивала одобрение учителя. Это успокаивало ее раненое сердце, в особенности же утешала ее дружба с маленькой девочкой Латифэ-ханум. Однажды Латифэ спросила ее:

— Ты чья же служанка?

— Ханум.

— Какой ханум?

— Ее матери...—указала Дильбер на Атиэ.

— А у тебя игрушки есть?

— Нет... ведь я рабыня.

— Тогда я тебе подарю несколько.

С этими словами Латифэ достала из своей сумки куклу и подала Дильбер. Та схватила ее с величайшей радостью, подобно человеку, сумевшему обнять призрак своего счастья. Она принесла ее домой и спрятала в шкаф. Однако ее охватило сомнение, как бы негритянка Таравет не нашла этого призрака счастья, поэтому у нее явилась привычка говорить, когда кто-нибудь входил в комнату:

— У меня в шкапу ничего нет!

Латифэ по временам дарила ей сахар, плоды и другие вещи, радующие детское сердце, и Дильбер постоянно мучила мысль, куда бы спрятать эти подарки. Поэтому поспешно, только бы не увидел никто, она отнесла свой мешок в отдаленную часть дома и спрятала его там.

Но однажды, когда она брала сахар Латифа, Атиэ-ханум заметила это и дома сказала матери. За последнее время мужа ее во всех делах и начинаниях преследовали неудачи, вести хозяйство становилось все труднее, характер ханум, и без того раздражительный, со дня на день становился все хуже. Дочь она очень любила, и когда ребенок с детской заносчивостью, проистекавшей от недостатка воспитания, сказал ей:

— Пойдем туда... к черкеске... пойдем туда... эта нищая падаль...—мать тотчас же отправилась в комнату Дильбер. Войдя в комнату Дильбер, она широко раскрыла под нахмуренными бровями тусклые глаза, казавшиеся большими из-за темноты белка, и молвила:

— А ну-ка, поди сюда...

Дильбер задрожала от страха, какого не знает ни один ребенок, и остановилась как вкопанная. Притянув к себе Дильбер за ухо, ханум, безжалостной рукой дав ей несколько пощечин, воскликнула:

— Ты верно забыла, что ты нищая, — и выкинула за окошко весь сахар и фрукты.

О, женщина-разрушительница. Все имущество Дильбер, всю сокровищницу ребенка она уничтожила одним ударом. Хотя впечатления грустной жизни, проведенной в такой обстановке, измучили девочку, испортили детский, не легко поддающийся впечатлениям характер, однако она проявила удивительное для ее возраста мужество и приложила все усилия, чтобы не заплакать. Все же, когда она выходила из комнаты, на ее задумчивые глаза навернулось несколько слезинок.

В это время Таравет закричала снизу:

— Эй ты, негодная черкешенка, нищая, иди сюда, принеси воды.

Резкий северный ветер нагнал густую черную тучу, и девочка начала носить воду из колодца в саду под мелким холодным дождем. Ведра качались, вода расплескивалась, и Дильбер чувствовала ее холод до самого сердца. Когда она поставила ведра, у нее только хватило сил выйти из кухни, — носить воду она уже не могла. Таравет готовила обед и, обратясь к Дильбер, прикрикнула:

— Скорее неси воду, ленивая... а то обед не успеет...

Девочка, не трогаясь с места, ответила:

— Я больше не могу носить воду.

Таравет взглянула на нее как змея из-под дерева, взглядом своим заставляющая падать птичек. Белки негрятянки налились кровью, с диким, свойственным только ее глазам, взглядом она выхватила из печки горящую головню и пошла к девочке. Когда Дильбер увидела направляющуюся к ней горящую головню, когда из огненной палицы в руках негрятянки начали вырываться жгучие языки, она покорно вышла из кухни. Ее ужас и страх вызвал бы сострадание в ком угодно. С величайшим трудом она выполнила свою непосильную работу.

В эту ночь, когда все уже были погружены в глубокий сон и стенные часы пробили полночь звуками совы, кричащей на кладбище, Дильбер встала со своей кровати, потихоньку открыла шкаф и достала оттуда что-то. Затем, схватившись рукой за голову, она смело, как по военной команде, пошла вперед... Страшная вещь. Что собиралась сделать девочка в эту холодную полночь. Бежать... Она не могла долее терпеть мучения и побои. Притеснения и унижения изранили ее душу. Она собиралась бежать. Но под страшными, свойственными демонам, черными крыльями ночи нет убежища для такого маленького существа. Она собиралась бежать, искать чего-то, идти не зная куда, доверяясь указанию и водительству своих собственных ног... шла искать уединенного убежища, где ожидала найти покой, — короче сказать, она хотела отыскать свою мать, чтобы вволю наплакаться в нежном объятии...

Несчастливая рабыня. Движимая порывом честности, она сняла с себя платье, данное ей ханум, и потихоньку открыла шкаф. В одном из ящиков валялось ее черкесское пальто и шапочка, она достала их. Одеваясь, она несколько раз украдкой взглянула на спавшую на постели черную женщину. Слабый, дрожащий свет горевшего светильника, мерцавший как звезда надежды, показал девочке страшный облик Таравет, раскинувшейся на маленьком матраце, покрытой старыми тряпками и рваной кофтой и погруженной в тяжелый сон... Для такого бегства нужны дорожные припасы... Она принесла мешечек, в котором носила в школу завтрак, положила туда полученную ею от Латифа куклу, затем добавила яблоко и присоединила к этому два маленьких железных

колечка. Укладывая в мешечек эти вещи, все ее богатство, она беззвучно плакала.

Молодец, маленькая черкешенка, хвала твоему прекрасному измученному сердцу. Она не взяла ничего, кроме своих пожитков, сунула под мышку мешечек и вышла из комнаты. Нащупывая в темноте руками перила лестницы, она спустилась вниз, дошла до выходной двери и увидела ее железные запоры. При виде этого железного препятствия, этого превосходившего ее силы затруднения, вставшего перед ней в преддверии к осуществлению мечты, она вся похолодела в полном отчаянии. Но отчаяние и безнадежность вызвали нервное возбуждение, силы ее удвоились, она поднялась на стул и потянула кверху засов... Невозможно... Дрожа от гнева и отчаяния, она еще раз схватилась за него руками и попыталась открыть... Не хватало сил... Засов оставался бесчувственным как сердца ханум и Таравет. Еще раз схватилась, с силой отчаяния, и наконец сдвинула засов с места. Она села на стул, глубоко вздохнула и наконец, после получасовых стараний, преодолела препятствия: дверь открылась. Ей не пришлось в голову закрыть за собой дверь, она сразу пошла по переулку.

Ночь покрывала все вокруг спокойствием и мраком. На небе не виднелось ни единой звездочки, на земле—ни одного огонька, ни единого звука не было слышно в этом беспредельном мраке. Только где-то в отдалении слышался вой собак, да по временам резкий холодный ветер поднимал страшные отголоски из развалин старой Византии. Оглядываясь от страха по сторонам, девочка быстрыми шагами побежала по кварталу и, дойдя до места, где стояли развалины уничтоженного пожаром дома, остановилась у каких-то дверей.

Маленькое сердце существа, нуждавшееся, чтобы жить в доброте и ласке, нежности и кротости, останавливалось от страшного спокойствия этой огромной ночи, жутких звуков, доносившихся из развалин. Все ее тело дрожало от резкого ветра, прилетавшего с ледяных северных гор, пронизывая ее до костей. В это время воспоминание о притеснении и злобе Таравет и ханум, впечатление холода и сила страха заслонили собой ощущение прежней свободы и спокойного передвижения, сердце и мысли ее охватил ужас, фантастические представления совершенно покорили ее, и она села на землю на том месте, где стояла.

И вот ее обессиленным глазам почудилось напротив что-то в роде видения... Около горизонта в уголке темного неба, точно закрытого черным бархатом, показался туманный свет... Она пристально вгляделась в это неожиданно появившееся небесное сияние и увидела посреди него улыбающееся лицо своей мамочки... Вот... там... она улыбается ей. Она слышит ее речь... С возгласом она бросилась вперед... Она протянула свои ручки, исхудавшие от таскания непосильных тяжестей, чтобы обнять свою мамочку, и воскликнула:—Мамочка, помоги, приди мне на помощь!—затем с резким криком опрокинулась на спину и потеряла сознание.

II

Когда она очнулась от глубокого сна, то увидела, что находится в незнакомом доме, на незнакомой постели. Напротив нее старенькая женщина с лицом, изборожденным следами прожитого времени, устремив на ребенка полные ласки и нежности глаза, в которых уже начал меркнуть свет, но чувствовался слабый отблеск духовного сияния, дрожащими руками подавала ей лекарство. Несомненно, этот сострадательный взор исцелил истерзанное сердце девочки лучше всякого лекарства. Когда изумительные волосы этой женщины были черными, они вызывали страсть; побелев, стали вызывать нежность; теперь они падали на Дидьбер, лежащую в постели, и это представляло собой замечательную картину. Седые волосы, лежавшие на одеяле, казались взволнованной душе девочки светonosными. В комнате стоял маленький диван, в углу его лежала подушка. С другой стороны комнаты была только маленькая лежанка, ниша, сделанная лет пятьдесят или шестьдесят тому назад, и в ней изображение Чанак Калэ ¹⁾ на горах. Девочка приподнялась на кровати. Когда она прислонилась к подушке и прижала к себе положенную возле нее куклу, старушка заговорила:

— Деточка моя, ты чья дочка?

— Я—служанка.

¹⁾ Один из замков в Дарданеллах.

Старушка подумала немного, погладила Дильбер по голове своими нежными, дрожащими руками и снова спросила:

— Чья же ты служанка?

— Ханум.

— Какой ханум?..

— Матери Атиэ-ханум!

Старушка оперлась щекой об руку, снова подумала и спросила:

— Зачем же ты вышла вчера ночью в такое позднее время на улицу, деточка моя?

Дильбер молчала.

— Как же ты пошла в такое место, в полночь, как не боялась привидений и ведьм, которые приходят к недобрым детям, деточка моя?

Дильбер опять промолчала.

— Вчера ночью ты бредила в кровати мамой... Кто же твоя мать? Где она теперь? Скажи мне, дитя мое.

— Я не знаю.

Старушка утерла слезу:—Погоди, я пришлю к тебе внучку, ты поиграешь с ней,—сказала она и вышла из комнаты.

Несколько минут спустя в двери вошла девочка. Дети поглядели друг на друга, затем девочка подбежала к кровати и обняла Дильбер. Пока девочка не подошла к кровати, Дильбер и не догадывалась, что это была ее школьная подруга Латифе-ханум.

— Дильбер, что с тобой?—воскликнула девочка.

— Ничего, я только убежала.

— Почему убежала?

— Меня очень били. Очень много заставляли работать. Потом все время называли «жалкой черкешенкой, скверной девчонкой». Когда я играла, они сердились. Если мне было холодно и я сидела возле жаровни, Таравет прижигала мне руку щипцами. Посмотри на мои руки.

В самом деле, когда она вынула из-под одеяла потемневшую, загрубевшую ручку, на ней был виден след ожога.

Дильбер снова заговорила:—Когда я встану с этой кровати, я буду твоей рабыней, буду носить тебе воду, буду убирать твои игрушки, буду мести твою комнату. Не оставляй меня.

— Я спрячу тебя в этот шкаф. Тебя никто не найдет и не уведет,—ответила Латифе.

Ребенок просит у ребенка помощи; маленькое сердце раскрыто чувству любви и человечности, и помощник не находит другого пути для спасения и защиты своего любимого друга, кроме невинного покровительственного обещания спрятать его в шкапу! Какое странное впечатление! Когда девочка дала Дильбер обещание защитить ее, чистые, невинные личики их, достойные поцелуя уст ангелов, засветились сиянием радости.

Бедные дети! Ваши нежные маленькие ручки существуют не для того, чтобы разорвать цепи рабства, созданного дикими азиатскими нравами и в течение многих веков порицаемого всем человечеством, нет, вы, как маленькие птички и хорошенькие цветы, существуете только для ласки.

Латифе пошла к своей бабушке и рассказала ей с величайшим волнением и тревогой, чья рабыня Дильбер и как она мучилась и терзалась.

Старушка со свойственным ее возрасту упованием на господу и величавым спокойствием, проистекающим от чистой совести пришла к Дильбер.

— Не бойся, мое милое дитя,—сказала она.

Жизнь, подходившая к концу, своим спокойствием и состраданием утешила едва начавшуюся жизнь. Затем старушка надела на голову вуаль, взяла в руку для опоры палку и вышла на улицу. В укромном уголке ее сердца, обиталища разрушенных и разбитых мечтаний и угасших надежд, впервые после девяностолетнего спокойствия пришедшего в волнение, проснулось страстное желание—освободить девочку.

Как маяк указывает во мраке человеку дорогу, так это желание вело старушку среди отчаяния. Спасая девочку, она хотела совершить благое доброе дело выполнить то, что она каждый день обещала господу. Она пошла напрямик к дому Мустафы-эфенди и постучала в дверь.

В это утро Таравет проснулась, увидела, что Дильбер нет на кровати и, подумав, что она, быть может, пошла за водой, выглянула в сад. Но там ее не было. Негритянка обшарила весь дом, но девочки не было нигде. Тогда она опустилась вниз и увидела, что входная дверь открыта. Негритянка поняла, что девочка убежала и, подумав, что с ней могло случиться в глухую полночь бог знает что,—ее, скорее всего, разорвали на клочки собаки,—она

не смогла вместить мысли, как это в голове Дильбер мог зародиться план бегства и желание причинить убыток своей хозяйке. В величайшем страхе и смятении прибежав к ханум, она завопила:

— Ах, ханум моя, милая моя, Дильбер убежала, убежала...

При этом известии ханум охватил ужас, она заволновалась:

— Дильбер убежала? Дильбер, говоришь? Да разве ребенок в таком возрасте может убежать?..

Таравет не могла понять, куда девалась девочка; от ярости и раздражения белки ее глаз сверкали на темном лице как тусклая лампа во мраке, голос ее от страха дрожал, от волнения она раскрывала рот, так что видны были блестящие зубы, похожие на клавиши черного приоткрытого рояля, от смятения умственные способности ее совершенно покинули, и она никак не могла втолковать ханум, что случилось:

— Если она не убежала... в саду ее нет... шкапу... платье ее... выходная дверь открыта... нет ничего...

Ханум сразу пришла в ярость:

— Это все ты виновата. Сейчас же, сию минуту ступай и ищи! Если не найдешь, я из тебя всю душу выколочу!

Таравет накрыла голову, выбежала на улицу и начала останавливать всех прохожих и приставать к ним с вопросом:

— Не ты ли украл ребенка моей ханум?

Старушка вошла в дом, прошла в гарем Мустафы-эфенди. Ханум, увидев ее, в волнении вскочила и воскликнула:

— Ах, ханум-нэнэ...¹⁾ не спрашивай, что со мной стряслось... эта проклятая девчонка... эта подлая черкешенка...

Старушка ответила спокойно и мягко:

— Нет, доченька, твоя девочка не убежала, она у меня.

Услышав это, ханум от изумления застыла на месте как неодушевленный предмет. Старушка продолжала:

— Доченька, господь всевышний прощает детям прегрешения, и хозяйки их тоже должны прощать им их погрешности. Я пришла попросить вас об одолжении. Я скопила пять кисахче²⁾. Я подарю их вам, а вы отдайте мне эту девочку.

¹⁾ Нэнэ — мамаша, бабушка. Почтительное обращение.

²⁾ Кисахче или кисса акче — букв. мешок серебра — простонародное название суммы в 500 пиастров; 5 кисахче — 2.500 пиастров или около 200 рублей до-военного времени.

— Ханум, что же вы с ней будете делать? — Старушка, будучи уверена в успехе, пекинула серьезный тон и улыбаясь совершенно как Латифэ не столько ртом, как глазами, ответила: — В ночь под праздник хочу выпустить на волю пташку.

Ханум возразила свойственным ей ледяным тоном:

— Я не могу торговать своими рабынями. — На этот отказ старушка заметила:

— Доченька, а я никому не могу отдать ребенка, умоляющего меня защитить его от истязаний.

Тогда в разговор вмешался сам Мустафа-эфенди:

— Разве ваш дом притон для мошенников? — Этот презренный дикарь не знал, что человечество и цивилизация считает непреложным заветом правило: быть почтительным к старикам, вежливым с женщинами и ласковым с детьми. Когда он воскликнул:

— Разве она не рабыня? Я скорее убью ее, но тебе я ее не продам! — старушка сразу встала и устремила свои глаза, выдавшие глубокие вызывающие головокружение пропасти жизни, на Мустафу-эфенди. Его тощее лицо было землистого темного цвета, какой часто встречается у обитателей Ирана и прилегающих областей, и от темных, цвета воронова крыла, волос казалось еще уродливее. Маленький рот его, похожий на черную дыру, терялся среди дебрей густой, спутанной бороды и усов, длинный закругленный нос спускался до самого рта, брови были жидки, глаза косые, выражение лица напоминало хищную птицу. Старушка покачала своею увенчанною убеленными временем волосами голову и с величием римской императрицы вымолвила:

— Да проклянет вас бог!

Затем она накрыла голову и поспешно пошла домой, беспрестанно вздыхая. Придя к Дильбер, она поцеловала ее в глаза своим беззубым, с утра до вечера шептавшим молитвы господу, ртом и сказала:

— Дитя мое, господь всевышний дает бабочкам на земле крылышки из лепестков цветов, чтобы они могли порхать; неужели он навсегда оставит тебя в руках у этих людей! Ступай снова к своей ханум. Не бойся, деточка ты моя. Теперь они уже не будут больше бить тебя.

В то время как старушка говорила эти слова, внизу постукали в дверь. Она выглянула на балкон и спросила:

— Что вам угодно имам ¹⁾-эфенди?

— Я пришел за девочкой Мустафы-эфенди. Пусть она скорее спустится вниз.

Когда имам дал такой ответ, старушка обратила угасший, влажный взор к Дильбер, стараясь в то же время не плакать. Девочка, услышав этот голос, звавший ее назад в темницу мучений, взглянула на нее с мольбой и ужасом, какой может родиться в детских сердцах только при звуке грома. Несомненно, эти две раненные души видели друг друга, видели обнаженное величие и мучительное смятение свое. Старушка обнимала девочку, беспрестанно утирая глаза. Дильбер, обняв старушку и осторожно освободившись от ее белых, на концах окрашенных хенной, волос, этого последнего закатного луча девятилетнего жизни, вышла из комнаты. Она не плакала.

Когда нас постигает несчастье, плач поддерживает остаток наших сил. Если же мы не в состоянии плакать и способность рыдать покидает нас, появляющееся на месте рыданий суровое спокойствие много мучительнее самых болезненных слез. Дильбер с таким спокойствием спустилась вниз, взяла за руку имама-эфенди и пошла. За этот короткий срок ее жизни она вторично и еще чувствительнее, чем в первый раз, убедилась, сколь бессильна она в лапах рабства, более крепких, чем железо, более холодных, чем смерть. Она подошла к дверям темницы мучений, откуда бежала в полночь, увидела, что могучая сила, вновь обрекающая ее на те мучения, от которых она старалась спастись, превосходила ее понимание, ее невинные чувства и детские представления перед этой силой становились слабыми и ничтожными. Когда она входила в дверь дома, ее с головы до пят охватила нервная дрожь.

С верха лестницы слышался голос ханум:

— Пусть глаза мои не видят этой свиньи. Запри ее в шкаф.

Таравет заставила ее войти в шкаф и сильно толкнула в спину. Дильбер со всего роста упала и почувствовала, что по лицу ее потекла кровь. Однако, на глазах у нее не появилось ни единой слезинки. Она слышала возле себя возню мышей, которых она

¹⁾ Имам — предстоятель на молитве, должность, до известной степени соответствующая священнику.

боялась больше, чем змей, но даже не обернулась. Три часа ночи... Шкаф все еще заперт на ключ. С самого утра она не ела ничего, кроме кусочка хлеба с сыром. Свойственный переходному возрасту аппетит давал знать о себе резкими спазмами в желудке. Ее наконец выпустили из темницы. Она съела кусок хлеба, совершенно спокойно пошла в свою комнату и сделала свою кровать.

Переодевшись, она легла, закрылась одеялом с головой, закрыла с утра болевшее лицо маленькими ручками и горько разрыдалась, приговаривая:

— Мамочка моя, моя мамочка.

III

Спокойствие... Она спит. Подушка пропитана слезами, волосы разметались, и посреди них виднеется ее маленькое личико. Губы слегка приоткрыты, видны ровные белые зубки, и кажется, что она улыбается. Если матери ее и нет в живых, если образ ее сокрылся в покойной могиле, то, наверно, по поручению ее с небес спустился ангел и с материнской, успокаивающей детские тревоги, лаской поцеловал ее в губы.

Увы! Это слабое существо, раздавленное рабством, забытое человечеством, по временам ласкаемое надеждой, спит в объятии забвения, приносимого сном.

Поутру, когда бледное сияние зари во всей красоте своих красок начало проникать через окна в комнату, Дильбер проснулась и начала протирать руками глаза.

Когда жизнь наша доходит до последней минуты, когда наши бедствия достигают высшей степени, тогда зачастую неожиданное утешение, является для наших обездоленных сердец. Так и в этот день произошло событие, совершенно изменившее судьбу ребенка. Как светлая река, вытекающая из непроходимых гор и темных лесов, это событие подготовило полную перемену в ее жизни, проходившей среди физических мучений и душевных терзаний.

В тот день Мустафа-эфенди сдал отчет по своей прежней должности, добился восстановления своей чести в общественном

мнении и по постановлению правительства был назначен с повышением каймакамом¹⁾ в Эрзерум. В свое время, когда вследствие какой-то его оплошности исполнительная власть начала подозревать его и он был отставлен от должности, он наделал много долгов. Теперь их надо было оплатить, приходилось подумать о необходимых для путешествия расходах, и Мустафа-эфенди, посоветовавшись со своим гаремом, после двухдневного размышления решился на продажу Дильбер.

Бедный ребенок.

Когда хозяин был в отставке, она испытала все невзгоды его семейства, своими маленькими ручками выполняла все работы; когда он вновь получил назначение, она своим слабым существом должна была послужить для оплаты долгов, должна была доставить необходимые для путешествия средства. Ханум радовалась тому, что счастье вновь повернулось к мужу, и зачастую говорила Дильбер, умерив свою прежнюю грубость и резкость:

— Разве я продала бы тебя, если б знала, что ты станешь человеком? Но только ты человеком не станешь. Трудно будет с тобой твоей будущей хозяйке.

Последовал приказ ускорить отъезд к месту назначения; в течение одной недели был найден какой-то работорговец. Дильбер была продана ему за шестьдесят пять лир, и в одну из сред семья выехала из Стамбула на пароходе Ллойда, направляясь в Трапезунд.

IV

Около Эдренэ-капу находится огромный, мрачный и печальный дом, выстроенный в старо-османском вкусе лет восемьдесят тому назад. Время, разрушая цветущие страны и покрывая прахом высокие цивилизации, коснулось и этого дома. В правом крыле его, напоминающем всю дикость и суровость архитектуры прошлых веков, есть большая комната, меблированная только одним длинным диваном с вылезшим волосом и несколькими потертыми подушками. Из окон ее виднеется пепелище пожара, приписывае-

¹⁾ Или кайм-мекам — вице-губернатор.

мого бесчинству и насилиям янычар. Крыша выдается вперед на подобие двух больших черных крыльев, мешая проникать в дом лучам солнца. От этого в доме ощущается сырость, действие которой заставляет опадать штукатурку. За домом — большой, темный сад, на краю которого стоит другой дом, суровое обиталище средних веков, похожее на темницу. Он стоит одиноко в этом пустынном месте, окруженный зелеными садами. Комнаты его выходят на развалины старой Византии, повсюду виднеющиеся в этих садах. С внешней стороны на выступах крыши свили себе гнезда разные хищные совы и коршуны, и по вечерам раздаются их терзающие сердце крики, еще более увеличивая мрачность дома. Двадцать девять лет этот дом стоял покинутым; он, казалось, не был в состоянии выдержать тяжести и одного дальнейшего дня и со дня на день разрушался все более и более. Обитатели его рассказывали друг другу, что в комнатах его по ночам показывались призраки и бродили по коридорам и бесхозным помещениям. Говорили даже, что одна из тамошних рабынь столкнулась лицом к лицу с таким призраком и из поведения его поняла, что он желает поболтать с ней.

Сквозь легкие тучки виднеется печальное лицо месяца, бледный свет его падает через высокие окна в дом и показывает бледное лицо Дильбер, поднимающейся по лестнице в одной из комнат.

Этот дом нанимал работорговец.

Жизнь среди тайн страшного дома вызывала в сердце Дильбер грусть и печаль. Эта грусть, как обыкновенно бывает с детьми, явилась причиной страха. Для того, чтобы снести из кухни вечером в сумерки обед в комнату больного работорговца, ей приходилось напрягать все свои силы и всю смелость. С тарелкой в руках она шла по лестницам. Печальный свет месяца грустно озарял комнаты, где-то в стороне кричала сова. Звук этот доносился от развалившихся стен руины, слышался среди гробового спокойствия ночи, и девочка холодела с головы до пят. После минутного колебания, она бросилась вперед, ускоряя шаги, и, когда вошла в комнату, работорговец спросил:

— Девушка, что с тобой? У тебя лицо совсем пепельного цвета...

— Господин, там кричит сова...

— Где?... Вот еще!.. Да разве птиц так бояться? Ты с этим

страхом и тоской будешь дурнеть изо дня в день! Птица! Смеешься ты, что ли! Вот еще пустяки. Если ты понравишься, я продам тебя в хорошее место. Там ты отдохнешь, да и я на этом подработаю. Ступай... иди назад!

Девушка вышла и пошла в комнату по другую сторону коридора. Эта комната была одна из самых больших наверху. Вдоль окон стоял большой, крытый белой материей диван, перед ним на маленьком столе горела лампа. Около стола стояло несколько стульев, лежало много подушек, на стенах были развешены разные музыкальные инструменты, в роде лютен и смычков. У одной стены стоял большой шкаф, где хранились матрацы. Из девушек, находившихся в комнате, одна сидела в привычной позе, поджав ноги, на маленьком пуфе. Волосы ее свешивались ей на колени, она играла на лютне. Другая валялась на большом диване. В другом конце комнаты сидела наклонясь над книгой погруженная в чтение еще девушка, в стороне две других беседовали с увлечением о Кавказе... о высоких, доходящих до самого неба горах, покрытых синими туманами... о диких лесах, где по утрам звенят разнообразные напевы птиц, вызывая томление... о веселых танцах и забавах под звуки своих родных напевов на берегах прозрачных как кристалл, нежно-журчащих ручьев, текущих с высоких холмов, среди цветов и зелени,—ручьев, где отражаются облака, окрашивая воду самыми разнообразными дивными красками... Читавшая рабыня отбросила в сторону книгу и, устремив глаза на полосу лунного света, с задумчивой грустью, придававшей ей выражение чистоты и невинности, воскликнула:

— Удивительное дело! Сначала служи им и переноси все их невзгоды... потом, когда ты откажешься ответить на страсть уродливого сына хозяина, люди, не разбираясь в наветах и клевете, сразу говорят... ступай к работорговцу!

Затем она встала и, подойдя к двум подругам, разговаривающим девушкам, сказала:

— Ах! прекрасно... эти дивные дни... эти светлые образы... сладкие воспоминания... Когда я думаю об этих кратких мгновениях, о нескольких днях, жизнь моя и глаза мои устремляются к этим воспоминаниям, и мое трепещущее сердце старается последовать за ними... Я тоскую по деревьям в том саду, где я выросла. Я вспоминаю розовый куст в том саду: он был моим дру-

гом... вспоминаю те комнаты, те лица, те закоулки, все счастье раннего детства... А теперь... быть проданной человеку, которого не знаешь... в совершенно незнакомый дом... И она заплакала.

Дильбер вскочила, вышла за дверь, прислушалась. Если работорговцу случалось узнать, что девушки, собравшись вместе, рассказывают друг другу свои тайны или что кто-нибудь из них отважился заплакать, он всегда прибегал к наказанию их.

Из небесно-голубых глаз девушки, блиставших среди слез словно влюбленная звезда, мерцающая на небе во влажную ночь, можно было понять, что они устремлены на образы ее мечтаний и ни о чем не желают говорить.

Другая рабыня, занимавшаяся шитьем сидя на диване, от побоев превратилась в тигра. Это был ягненок, на угольях мучений и скверного обращения сделавшийся кошкой. Долгие годы она покорно терпела побои, мучения, скверное обращение, но потом как-то вдруг восстала против всего этого. У слабой девушки прорезались зубы тигра, она ломала все, что ей попадалось под руку, растоптала ожерелье, украшенное драгоценными камнями, и совершила даже еще более страшное дело... о нем даже говорить жутко... подожгла дом своего хозяина.

Все собрались вокруг лампы. Девушка, игравшая на лютне, рассказала дрожащим от волнения голосом, что она полюбила молодого, красивого пашу, тот отвечал на ее любовь; об этой маленькой любовной истории узнала ее ханум, и вот ее продали и теперь ей приходилось горько плакать и тосковать в доме работорговца о своем паше. Скромно потупив взор, она воздавала должное и себе и своей госпоже.

— Однако,—говорила она,—в наказание за проступок ее мужа меня продавать не следовало.—Любовь... дружба... ласки... притеснения... мучения... рабство... сплетни... Разговор дошел до этого, когда дверь внезапно с шумом распахнулась настежь. Дильбер плохо выполнила возложенную на нее обязанность. Работорговец всячески старался препятствовать таким сплетням, причинявшим большой убыток в его торговле, и теперь, несмотря на свое запрещение услышав из-за дверей такие излияния чувств, в страшном гневе с плетью в руках вошел в комнату. Жалкое зрелище... Вызывающая сострадание картина... Плеть резко и сильно начала приводить в осуществление свой приговор, и девушки с криком разбежались во

все стороны. Видеть следы плети на голом теле этих красивых девушек, воспитанных с лаской и нежностью в лучших семействах, и вспомнить, что хозяева продали их по самым пустячным предложениям, это произвело бы впечатление и на каменное сердце. Несколько минут спустя в комнате водворилась тишина. Так как Дильбер в смятении слушала разговор, но сама не вмешивалась и ничего не рассказывала о своих похождениях, то она от наказания была избавлена. Однако всех девушек надо было разделить, и поэтому работорговец отвел Дильбер в одну из комнат, выходивших окнами в сад, и сказал:

— Здесь ложись... и чтоб тебя слышно не было!—Дильбер зажгла свечу и в его присутствии сделала свою кровать.

Работорговец вышел из комнаты, и послышался звук его шагов, удалявшихся по коридору. Затем все стихло, девушка поняла, что она осталась одна в холодной, страшной, похожей на могилу комнате этого мрачного дома. Все тело ее охватила легкая дрожь, и она легла на кровать. Несколько минут спустя она приподняла с подушки свою маленькую, наполненную мыслями о грустном жизненном опыте головку... Ничего... ни одного движения... ничего, ни единого звука... Она задрожала всем телом и, плотнее завернувшись в одеяло, села на кровати. И вот... над ее головой... с развалившихся стен и замков тысячелетних руин Византии послышался голос, похожий на терзающий сердце, чрезвычайно некрасивый смех. Она забилась как раненая птица и хотела вскочить на ноги. Кричала сова... Ох, этот звук... этот звук... Много веков тому назад передавались из уст в уста мысли о том, что он представляет собой недоброе предзнаменование, возвещает беду. Этот круг ложных представлений нашел себе скрытую точку опоры в ее маленькой головке. Свеча озаряла только один край комнаты, ее мерцающий свет то исчезал, то вновь появлялся среди окружавшего ее мрака, и едва заметный дымок ее, тонкая полоска тумана, отражаясь на стене, с каждой минутой разрасталась и начинала казаться испуганным глазам девушки то страшными существами в белых одеждах и черных шапках, то призраком Таравет, направлявшейся к ней с горящей головней в руках. Она снова опустила голову на подушку и накрылась одеялом с головой.

Сова все кричала.

От тюрьмы, одиноко стоявшей среди глубокого мрака ночи, вид-

нелся только страшный ее купол, покрытый густым туманом. И вот с ее стороны послышались приближавшиеся шаги тех самых привидений, о которых постоянно говорили с самого прибытия Дильбер в этот дом. Волосы ее стали дыбом.

Сова все кричала.

Ей пришло в голову выбежать из комнаты и что есть духу пуститься бежать в комнату работорговца. Но время было пропущено, ибо дверь уже вся была занята привидениями. Она хотела броситься из окошка в сад, так как комната была не очень высоко, и повернулась к окну.

Там все кричала сова.

Она накрыла голову одеялом и легла. Заткнула уши пальцами. Бесплезно! Из окна слышался смех ночных призраков, от дверей доносилась их болтовня. Нервным движением она снова приподняла голову с подушки и прислушалась. На этот раз все звуки прекратились.

Начало светать! Из окон над ее головой в комнату упали два свойственных Востоку, этому месту восхода дневного светила, и этому утру в особенности, световых столба. Девушка сочла их руками матери, протянутыми от небесного трона для помощи и поддержки, ее встревоженное сердце немного успокоилось, и она в полном изнеможении погрузилась в сон.

V

Было четыре часа утра, когда работорговец спустился вниз и постучал в закрытую дверь комнаты Дильбер. Ответа не последовало. Он еще раз постучал, позвал:—Дильбер, Дильбер!—но ответа не было. Дильбер спала в обессиленном состоянии, измученная бессонницей и страхом. Он третий раз, громче позвал:—Дильбер, Дильбер!—стукнул в дверь, но опять не получил ответа. Тогда в величайшем волнении он встал на стул, открыл верхнюю задвижку с внутренней стороны, слез со стула, открыл и нижнюю и с силой толкнул дверь. Дверь с грохотом открылась, и Дильбер проснулась.

— Что с тобой, Дильбер? Почему ты так спишь? — спросил он.

— Я эту ночь очень боялась, это очень дурной дом, — со слезами на глазах ответила Дильбер. Работорговец испугался, как бы здоровье Дильбер не пострадало от этого страха и он не потерпел бы убытка, и поэтому сказал:

— Доченька, чего же ты боялась? Если б я знал, что ты такая боязливая, разве я оставил бы тебя одну в этой комнате? Теперь ты будешь спать каждую ночь у меня, — и поцеловал ее в глаза!

Затем, приласкав ее, он сказал: — Вставай, вставай, деточка... за тобой пришли хорошие покупатели. Пойди, умой лицо.

Работорговец ушел. Дильбер поднялась наверх и увидела там чужую даму, которой ей пришлось поцеловать подол. Торговец рассказал, что девушка превосходно играет на лютне, умеет читать и писать, но несколько дней тому назад простудилась. Бледность ее он приписывал простуде, слабость сложения — чрезвычайным стараниям при учении. В конце концов он продал ее за сто пятьдесят лир с правом для покупательницы в течение семи дней расторгнуть сделку и возвратить назад девушку, если в ней обнаружатся какие-нибудь недостатки. Он добавлял, что если б она не подурнела немного, он бы спросил за нее двести лир. В самом деле, Дильбер подурнела. Связанные с переходным возрастом недомогания набросили на ее лицо тонкий темный покров, тяжелый труд и печали заставили ее щеки заметно пожелтеть и покрыться мелкими морщинками, словно лепестки розы, распустившейся раньше времени. Ей было двенадцать лет, но лицом она напоминала пятидесятилетнюю старуху.

Через неделю работорговец полностью получил всю сумму в уплату за Дильбер и выдал соответствующую расписку.

VI

— Мала ростом! Прекрасные черные глаза. Лицо, рот, губы — хороши, хороши. Лицо бледное, взгляд печальный, похожа на грустную картину... Ты не больна?

— Нет.

— Почему ты так бледна?

— Не знаю.

— Возраст?

— Пятнадцать.

— Ты с Кавказа?

—

— Взгляни на эти свежие зеленые деревья, на леса, взгляни своими черными глазами на это голубое небо... Такие краски были в той стране, откуда ты родом?

— Да.

— Имя?

— Дильбер.

Лучи вечернего солнца исчезли, люди перестали ходить, голоса их стихли, настала ночь, звезды на синем небе отражались как влюбленные взоры на зеркальной гладкой темно-синей поверхности Мраморного моря, этой купальни фэй. Можно было подумать, что ночь набросила на поверхность моря покрывало из тонкого синего атласа, расшитого золотыми блестками. Густо усеянное звездами небо отражалось в воде и слегка светилось, напоминая слабое сияние месяца, ближе к берегу море было покрыто синеватым сумраком, оно непрерывно томительно волновалось, словно влюбленный, срывающий поцелуй с уст своей милой, и маленькие волны все время ударяли в берега. Все это наблюдал с балкона стоявшего на берегу дома Джелаль-бей, кутивший сигару раскинувшись в кресле. Он думал о тех пяти или шести годах, которые он провел, обучаясь в Париже, о своей двадцатитрехлетней жизни, не отравленной ни единой неприятностью, полной страстных томлений, бесстрастно вспоминал ласковые взгляды и сладкие взоры в укромном уголке среди культурной толпы Парижа; все это, казалось ему, он видел в таинственном зеркале мерно волновавшегося моря.

Он проявил необыкновенные способности к живописи и в тени совершающего чуда воспитания культурной нации достиг почетного места. Следуя своей фантазии, с томной грустью увлекавшей его к Босфору, он написал картину, изображавшую шестивесельный каик; в нем сидели две женщины с розовыми щеками и бросавшими смелые взгляды блестящими черными глазами, выглядывавшими из-под тонкой вуали; в глубине лодки, покрытой украшенной бахромой шалью, сидел страж гарема. Эту картину молодой художник представил в Салон.

Комиссия оценила работу талантливого ученика Жерома, однако упрекнула его в чрезмерном старании изобразить обилие блеска и света лучей, падающих с синего неба Босфора словно снопы колосьев. Тогда он написал письмо, указывая, что, как это очевидно всякому, никакой краской невозможно передать сияние ясного дня Востока под светлым и чистым небом, столь прозрачным, что в нем можно разглядеть даже недостижимые людским рассудком высшие небесные существа. Письмо оказало действие, и он добился счастья быть принятым в Салон.

Сам он был довольно полного телосложения, с большими голубыми глазами, его открытое лицо, показывавшее смелость и решительность сангвинического темперамента, было окрашено в розоватый цвет; все это делало его похожим на римлянина. Он пользовался прекрасным здоровьем, в жизни видел только одну ласку и поэтому обладал прекрасным, веселым и ровным характером. Во всех странах он, как открывающая цветы весна, подходя к сердцам, заставлял проснуться в них любовь, но, хотя сам находился в самой блестящей поре юности, не ценил любви и привязанности, не ощущал к ним ни малейшей склонности, и мысль о том, что можно любить какую-нибудь красавицу помимо своего высокого искусства, отгонял всегда с высокомерием, а подчас и со скрытым отчаянием.

Однако иногда его сердце тайком говорило ему, что ему страстно хотелось бы привлечь в царство красоты царицу изящества, восседающую в храме божества перед дошедшими до нас через густую тьму далеких веков прекрасными образами древних греков, увенчанную цветами восточной весны.

У отца его в Египте было много предприятий, он в течение долгого времени собирал богатства и теперь затратил большие деньги на постройку выходившего на море дома в европейском вкусе на мысе Мода. Со стороны суши дом окружали высокие деревья, в роде чинаров, каштанов и оливок, заставляющие призадуматься человека, показывающие погруженному в мысли лазоревое небо, деревья, в тени которых переливаются лучи солнечного света. Среди прелестей этого сада, к которому ниоткуда не было доступа, он находил искомое и желанное спокойствие духа.

Со стороны, выходившей в сад, в верхнем этаже был салон, где находился большой мраморный камин с изображением известных

из мифологии стройных девушек с рыбьими хвостами. Над камином было большое зеркало, возле него лежала шкура белого медведя. С другой стороны стоял стол в стиле Людовика XIV, вокруг него стулья с позолоченными спинками и ножками. Изящный письменный стол в том же чужестранном стиле, несколько подходящих для кратких разговоров и интимных бесед маленьких диванчиков, стоящих друг против друга, соединенных вместе и похожих на кресла, позади них в углах комнаты в вазах, сделанных в подражание старинным образцам, цветы, показывавшие всю силу и мощь флоры Африки и Индии и вздымавшие свои вершины к самому потолку комнаты. Пол был покрыт драгоценными анатолийскими коврами, повсюду виднелись чучела редких животных. На стенах, оклеенных темно-красными с позолотой обоями, в одном месте висела прекрасная картина, изображавшая с чрезвычайным величием и мощью победоносный въезд завоевателя ¹⁾ в Стамбул; в другом — грозный облик Наполеона, среди туманов св. Елены устремившего свой повелительный взор в сторону Европы... В обставленном таким образом салоне, в углу с правой стороны от камина стоял большой рояль. По вечерам пальцы девятнадцатилетней девушки, готовой открыть врата к доступу во дворец тайн любви, ласкающими душу, пробуждающими скрытые чувства страстными мелодиями вызывали радость и опьянение.

После ужина, по вечерам, отправлялись в салон. Некоторые из членов семьи, собравшись под ясным, голубоватым светом ламп, падавшим из-под цветных колпаков, занимались чтением газет и книг. Потом глава семейства, Асыф-паша, садился играть с гаремом в карты, а дочь, как мы уже говорили выше, играла на рояле. Желаль-бей со старой французенкой-гувернанткой перелистывал иллюстрированные журналы и в то же время прислушивался к музыке.

Через маленькую дверь около окон салона можно было выйти на террасу, с которой лестница вела в описанный ранее сад. Рядом с верхним салоном была столовая. Большие, доходившие до самого пола, окна ее были завешены спускавшимися от самого верха окон портьерами из голубого атласа. Взглянув в оставшийся между

¹⁾ Завоеватель — Фатих, прозвище султана Мехмеда II, завоевавшего Константинополь (1451—1481).

двумя половинками их свободный промежуток, можно было видеть клумбы цветов, небольшой пруд и дальше зеленую тьму леса, в глубину которой взгляд уже проникнуть не мог.

Старая француженка была воспитательницей молочной сестры Джелаль-бея, Теслимэ. Хотя она прожила в Стамбуле десять лет, но кроме «Бакалим... кисмет... яваш, яваш...»¹⁾ и других подобных восклицаний не знала по-турецки ни слова. Несмотря на это, она с величайшим рвением, ради распространения протестантства, как миссионер учила всех и всякого своему родному языку. Она говорила, что всему человечеству необходимо изучать язык Вольтера, Гюго и Жан-Жака Руссо. Услышав, что на турецком языке имеется своя литература, она не сразу поверила и чрезвычайно поразились. В один из первых дней после ее приезда в Стамбул, когда за столом зашла речь о языках, она заметила:—Ведь турецкий язык происходит от того языка, на котором говорили византийцы...—и, увидев улыбку окружающих, с большой горячностью воскликнула:—Разве же современный разговорный язык в Египте происходит не от арабского? Впрочем, конечно, все это неизвестно, ибо на Востоке всякая истина, как и женщины, ходит под вуалью!

Когда речь зашла о Лондоне, она начала говорить об этом лежащем так близко от Парижа царстве мрака, большую часть года окруженном густым туманом, и о праздничном спокойствии, так поражающем всех приезжих и в том числе и ее, когда она занималась там воспитательной деятельностью. Зимой, в воскресный день, когда над городом сгущается туман и падает на крыши, по улицам, покрытым мраком, никто не ходит, все магазины и учреждения, кроме церквей, закрыты,—кажется, что четырехмиллионное население города сразу умерло. Если вы хотите видеть все это, поезжайте в Лондон в воскресный день в декабре. Среди густого, темного тумана по улицам словно призраки идут редкие прохожие слушать проповедников, под непрерывно идущим дождем говорящих о смерти. Разве возможно при таких условиях не заболеть «черной меланхолией», этой присущей англичанам болезнью?—Задавая такие вопросы, много болтая и часто проявляя в речах остроумие и красноречие, она представляла собой характерный тип француженки.

¹⁾ „Посмотрим... судьба... помаленьку, полегоньку“.

Если ей случалось, надев очки, почитать французскую газету, она с величием и грозным видом, свойственным старым дипломатам в парламенте, восклицала:—Долго это не может продолжаться. Будущую весну мы несомненно объявим войну Германии.—Если при ней кто-нибудь говорил:—А вы слышали о сегодняшних событиях?—она неизменно вопрошала:—А что? Франция объявила Германии войну?

Хозяйка дома попросила ее давать уроки и Дильбер.

Дильбер в этом доме была счастлива. По утрам она убирала комнаты ханум и ее дочери, затем чистила клетку канарейки, вверенной ее заботам и попечению, давала ей корм и меняла воду. Иногда утром, когда она подходила к клетке и канарейка начинала биться от страха, девушка начинала смеяться веселым невинным смехом, каким смеются дети в минуты высшего веселья, и восклицала:

— Ах ты, маленькое желтое создание, певичка, успокойся, а если ты не будешь слушаться, я пошлю тебя к Таравет...

Однако, так как страх, как неотвязная мысль утвердившийся в ее сердце в самом нежном возрасте, не покидал ее, всякий раз, когда кто-нибудь звал ее, она с дрожью поспешно бросалась наверх. Какую бы работу она ни делала, она всегда готова была согласиться, что сделала упущение, за которое заслуживает побоев или наказания. Если в это время кто-нибудь говорил: «Погляди сюда», она в смятении отвечала «Я поправлю это, я готова на всякую работу».

Потом, когда окружающие говорили ей:—Да ведь ты же не сделала никакого упущения,—она снова успокаивалась. Хозяйка дома, получившая вполне культурное воспитание, относилась к ней всегда ласково и мягко, однако отличалась передавшимся ей от египетской аристократии глубоким пренебрежением и презрением к прислуге. Так как Дильбер испытала всю грубость и жестокость людей, то это не укрывалось от ее взора. Этот презрительный и пренебрежительный взгляд всегда примешивался к той мягкости, с которой она прощала прислугу. Если, например, Дильбер совершала какой-нибудь небольшой проступок, она, извиняя девушку, говорила:—Не беда... Бедная девушка...—и это презрительное прощение для Дильбер было мучительнее жестокого наказания. В особенности Джелаль-бей... Служить игрушкой для каждое мгмо-

вление менявшихся детских прихотей и желаний этого талантлив-ного художника, покорного своим фантазиям, ранило ее человечес-ское достоинство. Это маленькое смущенное существо было всего на всего «забавой» для молодого, счастливого, знатного и удач-ливого бея. Иногда он заставлял игрушку одеть древне-египетский наряд, украшал ей голову цветами, сажал ее в комнату и открыв-вал выходящее на море окно. Солнце садилось в Мраморное море среди голубых и розовых туманов, лучи его, отражаясь в комнате, окрашивали Дильбер разнообразными оттенками, и художник пи-сал с нее картину. Дильбер часами сидела против этого «римля-нина», не чувствительного ни к каким впечатлениям, выслушивая резкие тиранические приказания: «Не шевелись! Не разбрасывай цветов!» или даже «Не дыши!», когда в работе встречалось какое-нибудь затруднение, с какими приходится сталкиваться мастерам этого великого искусства. Как царица в уединенном углу своего дворца сидела Дильбер, лишь по временам покачивая головой и как в бреду повторяя: «Уф... боже мой!...»

Живя в покое и довольстве, Дильбер с каждой неделей, с каждым месяцем хорошела. Ее чарующее тело развивалось с изумитель-ной пропорциональностью, лицо ее приобретало нежные, свежие краски, и она с каждым днем становилась все очаровательнее. В весенние дни, в последнее время она с французской книгой в ру-ках отправлялась в уединенную беседку в саду, окруженную кустами акаций и похожую на изумрудную клетку. Для того, чтобы никто не нарушил этого спокойствия одиночества, она пряталась от про-никавших снаружи взоров и садилась в самом укромном уголку. Среди листвы окружающих деревьев перепархивали маленькие птички, вытягивая свои шейки, как если бы желали разглядеть ее, и под их звучное, нежное пение она читала «Поль и Виржини». «Ах эта маленькая Виржини. Какая счастливица!» Рабыня чрез-вычайно заносчивой египетской ханум, игрушка опьяненного юностью и счастьем веселого бея, она размышляла об этом вели-чайшем счастье жизни и чувствовала в самом потаенном уголке своего сердца, как нуждалась в подобной пламенной любви. Когда же она прочитала как Поль, со временем достигнув своего неба и приблизившись к порогу божества, исчез среди бурных волн океана и представила себе состояние Виржини, из ее глаз на книгу упало несколько слез.

Как-то раз в послеобеденное время, когда солнечные лучи как бы лились на землю, все вокруг было залито светом и стояло в огне, она удалилась в свое тихое убежище. Дильбер чувствовала, что она далеко от всех существ в мире, и эта беседка с ее све-жими, тенистыми акациями, откуда раздавалось чистое пение птиц, с ее ароматными цветами, беседка, которую можно было бы на-звать уединенным гнездышком феи, была для нее убежищем, сво-бодным от всех мирских скорбей и забот.

Войдя, она со свойственным детям кокетливым изяществом и благодарными стараниями украсила голову цветами, в подражание чрезвычайно нравившейся ей картине в комнате Джелаль-бея, и начала потихоньку напевать песенку. Через полчаса она услы-шала голос Джелаль-бея, который сначала разыскивал ее в доме, потом, не найдя, спустился в сад и звал ее по имени:—Дильбер! Дильбер! — Девушка не отвечала; Джелаль-бей, разыскивая свою Дильбер, свою игрушку, уже хотел пройти мимо, как вдруг подул свежий, веселый ветерок, заколыхал листву на кустах акаций и открыл уединенное убежище этой маленькой беглянки, этой спря-тавшейся негодницы. Не дававший ей ни минуты покоя бей тотчас же отправился в ее сторону, громко рассмеялся венку из цветов на ее голове и воскликнул:

— Вставай, идем, Клеопатра!

Этот Александр потащил с собой силой несчастную Клеопатру, свою рабыню, и отвел ее на веранду в верхнем этаже дома. Там он прислонил ее спиной к мраморной колонне и стал заставлять ее одеть широкое платье с разрезами во многих местах, вырезан-ной грудью и открытыми рукавами. Дильбер обеими руками вце-пилась в свой ворот и повторяла:

— Нет! нет! Это невозможно! Я не одену!

— Ну, я прошу тебя, Клеопатра.

— Нет, я не хочу... не хочу, говорю я вам.

Юноша положил на плечи Дильбер свои руки, в которых было достаточно силы, чтобы сломать подобную игрушку, и заставил ее одеть платье. Затем он устроился против нее и начал набра-сывать чрезвычайно эффектный эскиз нищей девушки. Изорванное платье открывало руки Дильбер, словно выточенные из слоновой кости, без единого пятнышка, без единого недостатка, позволяло видеть ее розовато-белую, светящуюся как полоса света грудь; ее

темные волосы при попытках защититься от его насилия рассыпались по плечам, по обнаженным местам ее тела. В состоянии, выдававшем ее бессилие и беспомощность, она прислонилась головой к разукрашенной колонне и тихо, беззвучно плакала.

Плачет... тем лучше! Плач взятой в качестве модели для картины нищей девушки, словно вытекающие с кисти художника краски, относился к числу принадлежностей его искусства, гарантировавших ему успех.

Эти руки... как две светлые колонны ясным утром, ранней весной, когда рассвет раскрывает свои розовые ворота на голубом небе... плечи, немного суживающиеся, но округлые, грудь такая, какую можно видеть только у чудесных полных красоты и свежести греческих мраморных статуй, дошедших до нас чрез все невзгоды веков... Дивно!

Для человека, а в особенности для молодой девушки между пятнадцатью и семнадцатью годами два года составляют большой промежуток времени. Откуда могло быть известно Джелаль-бею, что за эти два года она под благодатным действием покоя приобретет в такой степени высокие качества духовной красоты. Этот великий художник отложил в сторону свою кисть и сидел, облокотившись на колени, запустив пальцы в волосы и устремив взгляд знатока красоты на поразившую его беззвучно плакавшую, смущенную нищую девушку. Одна минута... три... шесть... она все плачет. Она была отдана в распоряжение бездушных прихотей счастливых и богатых, человеческое достоинство ее было попорчено рабством. Насколько все это изранило ее сердце, как было тяжело для нее, это показывал ее помутившийся взор, об этом говорили ее тонкие губы, уголки которых были опущены книзу и доказывали всю чувствительность ее. Когда женщину охватывает желание видеть уважение к себе, быть любимой, желание настолько могучее, что она не может противиться ему, и когда это желание бывает попорчено презрением, нет предела ее отчаянию и смятению... Все это было видно на лице Дильбер. Но у нее не было матери, в объятиях которой она могла бы поплакать, не было ни отца, ни брата, готовых защитить ее... Джелаль-бей видел все это... видел ее приключения за короткое время ее рабства... видел испытанное ею грубое и резкое обращение... ее невинные желания... ее маленькие упования и надежды... короче сказать, вся история жизни этого попорченного человечеством существа встала

перед его глазами, и под впечатлением ее отчаяния он вскочил с места:

— Прощу тебя, прости меня, Клеопатра... Прости, говорю тебе, приношу тебе свою просьбу о прощении... пока ты сама не захочешь, я не дотронусь до кисти... Почему ж ты все еще плачешь?

Дильбер успокоилась, снова оделась в свое прежнее платье и вышла. Эти глаза... эта грудь... эти губы... эти падавшие прямо на его душу слезы из ее печальных, светившихся огнем любви глаз, все это повергло существо молодого человека, до тех пор бывшее невосприимчивым ни к каким впечатлениям, в глубокое непрекращавшееся волнение. Он полагал, что прожил всю жизнь смело и мужественно, и это было для него причиной величайшего самоослепления и гордости; теперь, несмотря на его полное спокойствие и разнузданную веселость, его сердце занялось разрешением духовного вопроса... Немного подумав, он молвил про себя: «Почему же эта игрушка так растрогала меня?»—и спустился вниз.

Стараясь преодолеть и облегчить сильное впечатление этой красоты, он под влиянием такой борьбы чувств несколько дней ходил задумчивым, несколько ночей провел без сна. Встречаясь в это время с Дильбер, он вместо прежних веселых шуток оставался молчаливым и, бросив на нее украдкой влюбленный взгляд, снова погружался в раздумье. Дильбер перестала быть игрушкой. Клеопатра превратилась в Жюльетту. В следующие затем дни непрерывного волнения, погружаясь в глубокую задумчивость, он устремился напрямик к раскрывшемуся перед ним светлому горизонту, к целому миру любви. Странная перемена! Все изменилось в его глазах. Он удалялся в свою спокойную спальню, и во время ночного одиночества, когда, казалось, были слышны шаги фей, бродящих в представлениях поэтов и фантазиях влюбленных, смятение и волнение до самого утра не давало ему сомкнуть глаза, и это отравляло ему существование.

Как-то раз ночью, когда любовные мечты снова привели его в волнение и он лежал в кровати без сна и покоя, он вскочил и пробормотал:

— Еще раз... — Он хотел посмотреть еще раз. Ему хотелось успокоить и утешить свое волнение и томление, проверив свой требовательный взор, не одобрявший никого, кроме чарующих дочерей древних греков, поражающих весь культурный мир и всеми считаемых за чудо, — проверив этот взор, как казалось

ему, наверно доставивший ему ложную весть. Он начал одеваться. Внезапно зародившаяся мысль толкала его, он спустился вниз и, дойдя до дверей спальни Дильбер, остановился перед ними... Трепет... ух... трепет, покоряющий все намерения... У него не хватало сил даже нажать на ручку дверей, и в то время, как этот трепет обессиливал его, мысли бурным потоком нахлынули на него. Войти словно тать в полночь в спальню молодой девушки, дверь которой охраняется честностью и человечностью, в этот гарем невинности, поправить наиболее чистый и святой закон совести... преступление!.. Там, в этом полном мраке, мешавшем видеть что-либо, он почувствовал, что на него устремлен грозный взгляд совести, и со стыдом закрыл лицо руками. Так как она рабыня и, выполняя изнурительные работы, не думая о теле и здоровье, спит в своей девичьей кровати, ничем не защищаясь от каких бы то ни было оскорблений, то можно воспользоваться этим... Он задрожал при мысли о такой преступности и повернул назад. Увы! не знающая сопротивления внезапная вспышка могучей силы любви до основания потрясла все эти мысли; с самыми добрыми намерениями, желая выразить свое преклонение перед девственностью, подчиняясь водительству и указанию самой святой мысли, он вошел в ее комнату и остановился у ее изголовья. Она спала... В головах у нее стояла догоравшая, оплывшая свеча... Она лежала на спине, погруженная в глубокий сон, и вся ее поза выражала полное изнеможение. При свете лампы, стоявшей около кровати, было ясно видно несколько тонких морщинок возле ее глаз, открыто говоривших о скрытых тревогах этого юного сердца... На длинных ресницах ее, бросавших темные тени на ее страстные глаза, виднелись слезы... она плакала... В это мгновение он увидел что-то среди ее густых волос и начал пристально вглядываться... Портрет!.. Но чей? Взглянуть! Зачем?.. Ему показалось величайшей бессовестностью допытываться до священной тайны, драгоценнейшего воспоминания беспомощной рабыни, пользуясь ее сном. Быть может, это был портрет ее матери, единственное утешение ее в мире?.. или отца?.. или возлюбленного?.. Но когда эта мысль мелькнула в его смущенном, взволнованном мозгу, все его терпение и вся решимость исчезла: он взял портрет. Поднеся его к лампадке, волшебным светом озарявшей спящую красавицу, и взглянув, он вспыхнул как роза. Это был его собственный портрет!..

Он закрыл лицо обеими руками и хотел, рыдая, припасть к ее ногам, но, боясь разбудить ее или даже оскорбить своим появлением среди ночи, положил портрет на место и вышел. Когда он лег в свою кровать, из его глаз, выражавших умение владеть своими чувствами и даже безжалостность, впервые за все двадцать три года его жизни безудержно полились слезы.

VII

За длинным, пламенным весенним днем наступил лунный вечер. Под сенью зеленого неба, образованного листвою высоких деревьев, две молодые женщины, племянницы Асыф-паши, ужинали вместе со всем семейством. Только дочь по причине легкого нездоровья не спустилась в сад, не согласившись на упрашиванья и уговариванья взволнованной и обеспокоенной матери. Лунный свет, пробиваясь через листву, рассеивался и блистал на белой скатерти. За едой толковали о предстоящей свадьбе дочери с очень именитым и богатым пашей.

Эта свадьба вполне соответствовала стремлению к богатству, желанию власти и мечтам о блеске, чувствам, обладающим чрезвычайной властью над женщинами, и поэтому все лицо матери превратилось в одну сплошную улыбку. О, для своего сына, юноши в самой блестящей поре жизни, на ряду с огромным богатством обладавшего и величайшими познаниями, она мечтала о дочери из такого семейства, о богатстве и знатности которого говорил бы весь Стамбул. Зачастую она не довольствовалась и этим и, следуя своим жадным желаниям и своим преклоняющимся перед богатством надеждам, поднималась к целям еще более высоким, чем эти представления. Ее зоркий, свойственный женщинам, а матерям в особенности, взор заметил, что он в полном противоречии со своим обычным остроумием и веселостью три или четыре минуты сидит погружившись в размышление и забыв о стоящих перед ним кушаньях. Поэтому, желая пробудить его от овладевшего им раздумья, она обратилась к нему громким голосом:

— Джелаль, ты поцеловал свою сестру в глаза, поздравил ее? Счастливая свадьба...

— Спросите ее самое.

— Чего же мне ее спрашивать? Разве нет налицо богатства и знатности, всего, что нужно для свадьбы?

— Нет, матушка. Красота, невинность... любовь... вот к чему стремится большинство.

— А разве богатство и знатность мешают этому? По-моему, взять в мужья человека, сказать о нем «годится!», если он не обладает талантами и знаниями, богатством и знатностью, которые бы позволили назвать его имя во всяком обществе, — поступок чрезвычайно вульгарный. А потом, разве при женитьбе не стремятся больше всего к соответствию характера и темперамента? Разве способны к счастливому сожителству два субъекта, из которых один получил воспитание на высшей ступени общества, а другой в самых низах его? Как может подходить для юноши или девушки, воспитанных со всей старательностью, осуществить которую дает возможность только богатство, человек, выросший во всей безудержности нищеты. Если один будет чувствовать, что могущество и почет нисходит к нему, а другой будет ощущать ломку своей чести, можешь ли ты рассчитывать на покой и счастье в такой жизни?

— Но разве не бывает душ, которые даже в бедности и унижении блистают чистотою и величавостью как звезды, сияющие среди мрака? Разве сердце для того, чтобы любить, обязательно нуждается в богатстве и знатности? По-моему, истинное богатство, это — два прекрасные глаза, выражающие богатство души, величайшая знатность — играющая на розовых губах улыбка, указывающая на прекрасное сердце. Разве бывает знатность выше красоты, богатство выше чистоты сердца?

* Зехра-ханум обратилась к сидевшим за столом:

— Я не одобряю того, если сыновья знатных семейств делаются художниками и поэтами. Они приобретают склонность к неуравновешенному образу мышления, который унижает их, роняет их честь и положение, отличающее их от простого люда.

— Знатность поклоняется почету и богатству, богатство — знати и роскоши... я... невинности и любви... — молвил Джелаль-бей.

— Я не одобряю твоего отношения к богатству и знатности, Джелаль.

— Быть может, все это неправильно... но только это мои мысли

и мое убеждение, а человек никому, в особенности же господу и матери своей, не имеет права лгать.

Во время этого разговора Асыф-паша беседовал со своими племянницами и не принимал участия в споре.

Когда такой ужин подходит к концу, разговоры обыкновенно начинают становиться все более веселыми. Взрывы хохота по временам долетали до Дильбер, эту ночь сидевшей в какой-то странной грусти на пороге комнаты больной Теслиэ-ханум и ухаживавшей за молодой барышней. Тогда ее охватывало какое-то возвышенное томление, скрытая любовь, и она погружалась в глубокую задумчивость. Этот смех молодых, ослепленных богатством и знатностью и опьяненных весельем счастья молодых женщин и юношей, смех, в котором чувствовалась уверенность в своем счастье и горделивое сознание своего богатства, раздавался все чаще и чаще. Слыша этот смех, Дильбер вспомнила, что томится любовью к столь знатному, столь счастливому бею, подумала, что для всех рабынь страшнейшее наказание — данная им душа и сердце, и, сидя на пороге у дверей своей госпожи, горько, горько заплакала.

Все встали из-за стола и со смехом пошли прогуляться при лунном свете на берегу пруда, окруженного деревьями. Мать шла рядом с сыном. Когда она спросила:

— Джелаль, ты разве бросил сигару?

Тот, как бы очнувшись от сна, ответил:

— Нет, я забыл про нее.

Мать, вскормившая детей, часть плоти своей, жертвуя ради них своей кровью, почувствовала в сердце горечь будущих бедствий и с материнской озабоченностью, дающей право на обладание тайнами сердец детей, нетерпеливо и беспокойно занялась раскрытием этой тайны и установлением истины. Она направилась в комнату дочери. У дверей столкнулась с Дильбер, которая, увидев ханум, тотчас же вскочила.

— Ты плакала?

— Нет, сударыня.

— Почему же у тебя красные глаза?

— Не знаю, сударыня.

Она посидела немного с дочерью и затем снова спустилась в сад. Все семейство в колясках отправилось к маяку; после двух-часовой прогулки вернулись назад и разошлись по спальням, только

Джелаль-бей не мог заснуть. Любовный свет месяца, проникавший повсюду, не давал спать этой юной взволнованной душе, словно солнце, которое будит спящего, когда стоит высоко на небе. Он не мог заснуть. Встал с кровати и, чтобы успокоить душевное волнение и тревогу, взял в руки книгу. В течение часа он прочитал тридцать или сорок страниц, но из всего прочитанного не понял ни слова. Вызванный бессонницей жар мучил его; он встал с кровати, посмотрел на часы и, убедившись, что близится утро, решил спуститься в сад, чтобы полюбоваться на утреннюю зарю. Он оделся и тихонько, чтобы никого не разбудить, спустился с лестницы. В это время он увидел в открытом окне верхнего этажа какую-то грустную, задумчивую фигуру и с опаской и осторожностью подошел поближе... Это была Дильбер!

Очевидно она тоже совершенно не ложилась спать, ибо на ней была дневная одежда. Они начали беседовать.

— Посмотри на эти звезды, Дильбер, как они блестят среди глубокого спокойствия ночи. Смотри, там на горизонте две звезды-близнецы смотрят прямо в твое сердце. Разве они не похожи на двух белых голубей, улетающих к Венере, чтобы рассказать ей про твою задумчивость? Они прекрасны... Все прекрасно... Но только ты еще прекраснее, чем все это... Почему ты не спала?

Дильбер, для того, чтобы скрыть наполнявшую ее сердце любовь, хотела сказать: «Нет, сударь, я спала», но, прочитав в его глазах, привыкших разглашать доверенную им тайну, страстное томление, ответила:

— Знаешь ли ты, какое впечатление ты произвел на меня? Весь день я думаю о тебе, по ночам не сплю до самого утра, ты — все для меня!

Оба три или четыре минуты смотрели в пространство, лишь по временам устремляя друг на друга в самозабвении страстные взоры и молча выражая свое смятение и волнение. Наконец, Джелаль-бей дрожащим голосом предложил спуститься в сад, и оба начали спускаться по лестнице с верхнего этажа. Странная внезапная перемена! Оба почувствовали величайшую близость и все время говорили друг другу: «Тише, осторожнее! Не ступай сюда!» Они думали, что если, заденут друг за друга или обонутся на перила, в глубоком спокойствии ночи раздастся звук и прозвучит как клич позора, разбудив всех обитателей дома. Как только слы-

шался шорох, которого не мог бы расслышать и спавший поблизости в вестибюле, оба сразу останавливались. Прислушиваясь, не проснулся ли кто-нибудь, они спустились в сад. Шелестивший в листве деревьев, проносившийся над цветами свежий ветерок играл волосами Дильбер, наполняя любовным трепетом эти две юные души.

Оба с величайшей осторожностью уселись на сделанное из газона возвышение, считая его достойным любви убежищем. Не было слышно ни единого звука, ни единого движения. Только над их головами в беспредельной дали мерпали звезды. Джелаль-бей взял Дильбер за руку:

— Тебе не холодно? Этот легкий ветерок — дыхание цветов. Тебя не продувает?

— Нет. Меня потрясает это зрелище, это величие...

В это время небо понемногу начало принимать светлоголубой оттенок, давая знать двум влюбленным, что утро близится.

Со священным трепетом взирали они на чудеса природы, на небо и на свою собственную красоту. Любовные ласки были для них ручательством искренности и залогом верности. Когда на востоке чистое, освежающее душу утро приблизилось к звездам, и перед его улыбкой начал меркнуть их блеск, влюбленные от волнения были почти без памяти.

Наконец поутру звезды, бодрствовавшие среди бесконечности словно очи влюбленных, начали гаснуть и скрылись. Оба встали. Побродили по саду, вышли за калитку и пошли по дороге, окруженной дико-растущими деревьями и полями. Пройдя небольшой кусочек, оба остановились у уединенного мазара¹⁾, окруженного низенькой изгородью. Джелаль указал пальцем на эту свежую гробницу, блиставшую как яркая звезда в безоблачную ночь: — Под этой землей покоится прах восемнадцатилетней девушки. Она была помолвлена с молодым человеком, которого любила превыше всякой меры. Долгие годы она ждала жениха; в конце концов этот молодой человек женился на другой, она умерла, и так появился этот мазар!

Оба с величайшим смирением помолились и поднялись на высокий холм против гробницы. Джелаль-бей усадил Дильбер на траву, покрытую распустившимися цветами. Сам он устроился

¹⁾ Гробница святого или богатого человека.

около ее ног и из всех луговых цветов любовался только на лицо ее, более прекрасное, чем все весенние цветы.

Восток понемногу начал белеть, поверхность земли еще была покрыта мраком, а небо уже засветилось голубым светом. На убежище влюбленного и влюбленной ночной мрак накинуд черный полог, чтобы сокрыть их от взоров посторонних, но над их головами в небе заблистали, словно венец славы, солнечные лучи, в это время окраской напоминавшие радугу. Они начали шириться и распространяться среди свежего, ясного воздуха, и на востоке горизонт сразу окрасился в розовый цвет. Эти солнечные лучи вырывались из-за прозрачного покрова будущего на горизонте, и казалось, что там, за горизонтом, сокрыты тайны.

Вызванные ночной свежестью, сгустившиеся над Мраморным морем туманы под отблесками зари приобрели красный оттенок. Они понемногу подымались кверху, и острова, словно спавшие среди покойных вод Мраморного моря, появились в полном блеске, как греческое божество, с которого розовые волшебные персты сорвали наброшенный на его ослепительную красоту покров из розового тюля с золотыми блестками.

Эти туманы, похожие на фантазии поэта, разрывались и плыли навстречу заре. Когда же напротив в самых укромных, самых уединенных уголках леса, не пропускавшего внутрь солнечного света, не смягчив и не умерив его, звонко запели страстные любовные напевы птицы, губы двух влюбленных слились и не желали расстаться, безпрестанно передавая страсть и в их сердца.

Сколько секунд, сколько времени в этом бренном мире бывает достойно вечности?.. На небе волшебные краски, на земле золотое утро; разве первый любовный поцелуй, встреченный приветствиями цветов и поющих птиц, не достоин вечности?

Когда человек погрузился в глубокие мечты и перед его душой, которая не в состоянии выразить всего происходящего никакими человеческими словами, как молния раскрылась улыбка вечности,—разве это мгновение не достойно продления? Несчастливая память! Из дня в день она старается сохранить все бренные ощущения этой кучки праха, называемой нашим существом. Грустное зрелище она хранит долгие годы. Годы удерживают образ улыбки или слово. Мимо нее с головокружительной быстротой мчатся представления и впечатления, и все это она

стремится закрепить. В то время как ее силы и способности исчезают в этом невыносимом усилии, подходит несущая надежды будущность, а сопровождавшее нашу жизнь прошлое погружается в океан забвения. В это время как смертельно раненый солдат она оставляет нас у врат могилы и отказывается служить нам.

VIII

Было уже поздно, когда Зехра-ханум в третий раз вошла в спальню своего сына и с грустью и отчаянием увидела беспорядок, свидетельствовавший о внутреннем смятении ее обитателя. Одеяло было брошено в ногах, около изголовья лежала раскрытая книга, свеча видимо не была погашена и сама догорела, все платье было свалено в кучу. В четвертый раз она убедилась, что и Дильбер не было в ее комнате. Когда перед мыслями и заботами о детях, наполнявшими тревогой ее материнское сердце, предстала подобная истина, она нервным движением сложила руки и опустила их на колени. Она видела, что врата дворца счастья, раскрытые ее пламенными желаниями, резко захлопнулись перед нею и что ей придется навек проститься с почетом и знатностью, о которых она так жадно мечтала. Это отсутствие двух молодых людей вполне объясняло очевидную перемену в характере Джелаль-бея, томную печаль, заменившую его веселость и остроумие, задумчивость и молчаливость, сменившие его живость и непоседливость.

Войдя в сад, они с величайшей грустью и изумлением поняли, с какой быстротой шло время, проведенное ими во влюбленном самозабвении. Джелаль-бей вместе с двоюродными сестрами, которые провели с семьей вечер накануне, был приглашен на дачу к дяде, обитавшему на берегу Босфора. Чтобы попасть на пароход, он поднялся в свою комнату и переоделся. Повстречав в коридоре служанку, он вступил с ней в такой разговор:

— Что, моя мать у себя в комнате?

— Да, сударь. Прошлую ночь они не выспались как следует и теперь почивают.

— Принеси мою тросточку... Я все же зайду к ней.

— Нет, сударь. Они сказали никого не пускать. Даже барышни ушли, не повидавшись с ней.

— Она не больна ли?

— Нет, сударь. Ничего не случилось.

Он поспешно вышел из дому и направился к паровой пристани. В этом неопытном юном мозгу, кипевшем страстной любовью, не зародилось ни малейшего сомнения или подозрения.

Пароход отвалил от пристани. Джелаль-бею в этот день все казалось полным блеска и жизни. Перед его глазами, часами изумлявшими красоте его возлюбленной, раскрывались безбрежные просторы Мраморного моря и давали ему обещание вечности.

Он пересел на другой пароход. Босфор раскрывал перед ним царственное зрелище, которое, казалось ему, он видел в первый раз. Повсюду он находил много мест, ранее им совершенно не замеченных, открывал местности, красотой и спокойствием обещающие осчастливить двух влюбленных друзей. Небо столь прозрачно, что повсюду могло показать ему его милую, ветерок столь нежный, как если бы лица юноши касалась прекрасная коса его милой. Увы! тайны рока, пред которыми с величайшей покорностью трепещет самая возвышенная человеческая мысль, с одной стороны ласкали этого юношу такими чарующими образами, с другой—готовили грозную истину. Несчастный юноша не знал, что возлюбленная его вверена рукам кровопийц, у которых нет человеческого сердца.

IX

Горестные обстоятельства, заставляющие рыдать глаза человечества, причиной тому, что в преступлениях, не запрещаемых законом, люди весьма редко следуют голосу благородства и человечности и не повинуются приказаниям и запретам совести. Это—отсутствие воспитания, недостаток знания, предубеждения и прочие заразные болезни, которыми страдает общественное мнение...

В этот вечер Зехра-ханум сидела в углу своей комнаты и с душевным волнением и физической мукой ждала кого-то. «Почему же ее все еще нет?» задавал она вопрос с величайшим нетерпением, и слышала ответ, повергавший ее в отчаяние: «В той стороне по-

жар; быть может, это близко от нее». Около двух часов она находилась в величайшем затруднении, стараясь решить, чем пожертвовать: будущим ли сына, которое он в своих юношеских мечтах и фантазиях старается погубить, счастьем ли его, обещанным его матери, или этой жалкой рабыней, которая стремится помешать этому счастью и успеху.

Наконец после долгого раздумья взяло верх занесенное с Запада стремление к показной роскоши, порождаемая жадностью и алчностью страсть к богатству и пышности и обычное среди египетских семей презрение к жертвам рабства: она решила удалить Дильбер из дому.

В это время в комнату с приветственными возгласами вошла толстая женщина. Ее толстый живот прикрывало длинное, доходившее до самых пят, шитое одеяние; ее маленькие глаза несколько раскосо сидели над ее круглыми, бесформенными, широкими щеками, выдавая ее татарское происхождение; в них светилась невозможная сладость. Ее толстые губы выражали мольбу о милости и беспрестанно складывались в лицемерную улыбку, показывая несколько редких зубов.

Она остановилась перед канapé, на котором лежала Зехра-ханум, и почтительно приложила руку к голове. Сросшиеся брови ханум указывали на твердую решимость, но губы от страха перед ожидаемым окончательным решением дрожали как лепестки розы на осеннем ветру. Стоявшая в углу покрытая черным тюлем лампа давала слабый свет, как бы усиливая мрак в комнате. В это время разгоревшееся пламя пожара своими отблесками осветило комнату и показало среди мрака фигуру Зехра-ханум, похожей на римскую императрицу. Отражение пожара играло в ее белокурых волосах, этом венце на ее голове, освещало ее бледное лицо, ее темно-синие глаза и красивые губы и придавало ей какую-то жуткую прелесть.

Когда эта женщина вошла в комнату, Зехра-ханум, сгибавшаяся под тяжестью страшного бремени, страшившаяся мук душевного волнения, резким, далеко слышным голосом, похожим на раскат грома, крикнула:

— Эта Дильбер, которую ты достала, позорит честь моего дома и губит будущность моего сына. Завтра отведешь ее туда, откуда взяла.

Женщина поняла, что выполнение этого приказа, уделявшего

ей некоторую долю благоволения, окажется для нее источником чести и выгоды, и с усмешкой ответила:

— Сударыня моя, ты об этом деле не печалься. Завтра я и тебя избавлю и ей подыщу подходящее место.

— Так завтра, рано утром... поняла? Теперь ты знаешь, в чем дело, оставь меня одну.

Когда женщина вышла, Зехра-ханум, оставшись одна, встала. Подошла к окну, остановилась в задумчивости. Снова легла на свое канапé, и по какой-то непонятной скрытой причине глаза ее начали походить на фиалки, покрытые росой.

X

В этот вечер служанка, спавшая в одной комнате с Дильбер, без конца говорила о Кавказе... о рабстве... и горько, горько плакала. Горе, взволновавшее всю ее человеческую сущность, придало ее голосу особую выразительность, ее языку необычайную легкость. Это странное состояние подруги по рабству удивило Дильбер, и она спросила:

— Почему ты плачешь?

— О, рабы имеют полное право плакать! Этой свободой мы можем пользоваться!—отвечала та.

Странное дело! Кто же мог разбить сердце этой несчастной девушки? Когда Дильбер разделась и легла в постель, та снова начала плакать, беспрестанно утирая глаза платком. Дильбер встала с постели:

— Послушай, лить слезы наедине очень горько. Ты ни одной печали не скрывала от меня, почему же ты не хочешь сказать, что тебя так взволновало? Может быть, ты вспомнила о чем-нибудь, что случилось в нашей стране? Или, быть может, ты вспомнила, как ребенком плакала в объятиях своей матери? Если ты не откроешь мне своего сердца, ты думаешь над твоим горем сжалятся твои ханум, поплачут твои господа?

— Ох, нет, нет! В их глазах плачущая рабыня достойна только побоев. Разве есть сердце у тех, кто не верит ни в смятение, ни в болезнь человека, кто больного заставляет встать с постели и работать? Можно ли найти у них сострадание...

Она обняла Дильбер и, несколько раз поцеловав ее, продолжала:

— Сестричка моя, у тебя очень нежное сердце. Ты жалеешь меня, я это знаю... Ничего не случилось, оставь меня сегодня. Я лягу в постель, а ты отдыхай, ничего не случилось!..

И обе легли в свои постели.

Когда совсем рассвело, в комнату вошла женщина и заставила Дильбер подняться с постели:

— Что вам нужно?—спросила та.

— Вставай, складывай свои пожитки. Довольно ты пожила в этом доме...—был ответ.

Дильбер с распущенными волосами села на кровати и, словно утро любви, протирая только-что проснувшиеся глаза руками, спросила с величайшим изумлением:—Что она такое говорит? Не могу никак понять.

Этот юный разум не мог постичь, что за днем такого счастья, бывшим накануне, может последовать такое скорбное «завтра».

Женщина как палач, призванный для выполнения смертного приговора, нечувствительная ни к каким впечатлениям, стояла у изголовья девушки, неустанно повторяя:

— Скорей, скорей... ранним утром мы должны выйти из этого дома... так приказали господа...

Дильбер достала из небольшого комода свою вуаль и свое ферадже и начала причесываться перед зеркалом, вынимая из рта шпильки. Женщина продолжала стоять на том же месте, другая рабыня беззвучно плакала в своем углу.

На глазах Дильбер не было ни малейшего следа слез, только лицо ее цветом не отличалось от вуали, которую она надевала. Когда она одела ферадже и пошла вперед, рабыня бросилась за ней следом. Долгое время они пристально смотрели друг другу в глаза, затем обнялись.

Лицо Дильбер было холодно как лед, и подруга, прикоснувшись к нему губами, слегка вздрогнула.

Дильбер пошла вперед, женщина сзади. Когда они начали спускаться в сад, женщина воскликнула:

— Ах, а мешок-то твой, доченька...—но Дильбер, до тех пор не говорившая ни слова, ответила:— Не хочу!

«Раз она не хочет, вещи достанутся мне», подумала женщина,

отправилась назад и взяла мешок под мышку. Когда она собралась выйти, другая рабыня сняла с пальца кольцо и сдавленным от рыданий голосом попросила: — Возьми, дай ей это от меня.

Дильбер шла по саду, который накануне казался ей веселым райским лугом, не замечая ни свежего, яркого утра, ни веселого, страстного пения птиц.

У нее не хватало сил о чем-нибудь подумать, она едва-едва дышала и своей бледностью, которая могла бы напугать человека, напоминала мраморную Венеру, стоявшую в углу сада.

Женщина, возвратившись, нашла Дильбер на том самом месте, на котором оставила ее, и они вместе отправились в путь. Немного отойдя от дому, Дильбер в конце дорожки, усаженной по сторонам двумя рядами высоких деревьев, увидела среди утренних легких туманов свою беседку, это гнездышко любви, и устремила на нее томный, полный страсти взор.

Несколько лет она сидела там; в особенности за последние месяцы эта беседка скрывала ее. Теперь этот павильон, где Дильбер посетили самые высокие мысли, одиноко стоял среди деревьев под туманным небом, в глубоком спокойствии.

Дильбер села там в углу на камень и простилась навек с этим домом; долгое время она смотрела на этот храм любви. В это время впечатления бурной волной нахлынули на нее, горесть разлуки и в особенности сознание того, что любовь ее презрительно поправа, заставили ее пожелать мгновенной смерти. Женщина воспротивилась такому промедлению. Последние минуты жизни, и Дильбер, ощущая мучительное волнение, вышла за калитку.

Там трудились полевые работники, спозаранку вышедшие на работу, блеяло стадо деревенских овец и коз, которых пастух вел на пастбище. В деревне на минарете муэzzин пел азан ¹⁾ свойственным Египту, Арабскому полуострову и Тунису напевом. Его напев как стройная каменная колонна вздымался с минарета прямо в лазурный мир. В это спокойное и прозрачное утро он отражался о купол небесного свода и вновь падал на землю.

В это время издали показалась уединенная гробница, к которой Джелаль-бей накануне приводил Дильбер. Они продолжали идти своим путем. Бледное сияние утра проникло через решетку

¹⁾ Призыв к молитве.

гробницы и озарило ее, когда они подошли к ней вплотную. До этой минуты Дильбер казалась более молчаливой, нежели обыкновенно, но в это мгновение, закрыв своими руками, достойными ласки феи любви, лицо, выражавшее глубочайшую томную грусть, которая могла бы доставить мудрецу материал для рассуждений в течение долгих часов, она бурным движением бросилась на землю около гробницы. Ее чарующее тело распростерлось на земле, и она заплакала навзрыд как пятилетний ребенок. Ее отчаяние, ее сердечная тоска были столь велики, что человек, работавший на поле, издали услышал ее рыдания, сразу остановился, а стоявшая возле нее дикарка обеспокоилась и крикнула ему: — Принеси немного воды!

XI

В этот вечер, когда семья после ужина собралась в салоне, одна из племянниц Асыф-паши с большим вкусом и пониманием сыграла сцену в саду из известной оперы «Фауст». Божественные звуки раздавались из-под этих хорошеньких пальцев, бегавших по клавишам рояля. Джелаль-бей сидел неподалеку на кресле, как бы утратив сознание и погрузившись в свои мысли, и эта задумчивость его вызвала улыбку у молодых девушек. Для души, терзаемой волнением и тревогой, лучшее утешение, самый понятный язык после стихов, это — музыка. Окончив игру, молодая женщина с многозначительной улыбкой потрогала Джелаль-бея за руку и спросила:

— Мы уже давно не видали ни одного рисунка, ни одного наброска... Почему это?

— Я не знаю. Эти дни я совсем не могу работать.

— Ах Джелаль, — продолжала наблюдательная женщина с улыбкой, веселость и грациозность которой всегда были опасны для сердец: — Я полагаю, что вам мешает творить живая картина.

Слова эти вызвали смех у всех присутствующих, и ответа на них не последовало. По обычаю молодых девушек, разговор начал переходить с темы на тему и в конце концов пришел к вопросу о замужестве, вызывающему особое внимание и интерес. Начали расспрашивать о свадьбе Теслиэ-ханум.

Со свойственным всем женщинам интересом к платьям они закидывали ее бесконечными расспросами о портном, цвете ее платья

и фасоне. Их отец, Мюневвер-паша, войдя в комнату и желая предотвратить воцаряющееся в таких случаях молчание, повел речь о самом животрепещущем для всей семьи вопросе—о том, довольна или недовольна Теслиз-ханум предстоящей свадьбой и тем, что в скором будущем породнится с богатым семейством.

Эта мысль о богатстве, цели и условия для брака в этой семье, в последние дни губила все любовные надежды, всю веселость и любовь Джелаль-бея. Сколько раз пожалел он, думая об осуществлении своей мечты, что возлюбленная его не происходит из богатой семьи.

— Я считаю, что в женитьбе вопрос о богатстве совершенно безразличен.

— Почему же?—невольно вырвалось у его дяди.

— А разве у красивого взора, сладкой улыбки, этих могучих сторонников, не достаточно силы, чтобы заставить всякого изменить мнение о богатстве?

Дядя был воспитан в строгих принципах Ислама. На современные науки, отравляющие юные умы мучительными концепциями и материалистическими выводами, и на все поведение этого ни во что не верящего века, упускающего из рук все средства к утешению ради нескольких мыслей, он смотрел отчаянным взглядом верующего человека, нахмутив свои сросшиеся брови и уставившись в одну точку своими чрезвычайно близко стоявшими один от другого глазами. Он довольно холодно ответил:

— Нет, каждый должен жениться на равной себе.

В это время молодые женщины вышли из комнаты, и Джелаль-бей остался наедине со своим дядей.

Помолчав немного, Джелаль спросил:

— Разве вы считаете, что брак при отсутствии любви, направленный исключительно на приобретение выгоды и богатства, соответствует понятиям о морали?

— Молодые люди должны предоставлять старшим заботу о своем замужестве и женитьбе.

— Я считаю, что величайшее право молодых людей в этом мире, это—жениться на том, кого они любят. Разве не величайшее насилие—вмешиваться в право выбора глаз, в свободу вкуса, в природные склонности души?...

— Это так. Но только в этом возрасте глаза из-за бурных

страстей молодости лишены возможности как следует видеть. Вкус человека в молодости по большей части не развит... Когда человек с годами проверяет свои влечения, неглубокие, безумные прихоти юности, что он видит? Свои ошибки, свои оплошности... подчас и преступления.

— Нет, нет! Разве человек в молодости должен словно математик заниматься умножением и делением? Молодежи всегда рекомендуют спокойствие и рассудительность. Но я нахожу, что нет ничего более бессмысленного и безвкусного, чем этот брак, когда пройдут годы и придет успокоение.

— Это все слова...

Перед глазами Джелаль-бея предстал образ несчастной Дильбер, его охватило чувство сострадания, нежные мысли нахлынули на него, и он продолжал:

— Красивая девушка своей невинностью и любовью покоряет сердце, юношеские фантазии показывают нам ее среди цветов словно любовную мольбу или чувственную картину; это благодеяние нам дано самой природой, и в этом наше величайшее преимущество, наше природное право... Если бы каждый должен был ждать, когда придет это спокойствие, как могли бы эти красивые девушки осуществить свое природное право?..

— Все эти речи горят огнем юности, все это только заблуждение разума.

— Нет, вы заблуждаетесь. Если бы не было этого душевного волнения, не было этого внутреннего пламени, я не мог бы найти цели, улады в жизни. Когда в сердце приходит спокойствие, человека зарывают в землю.

Дядя увидел, что разговор этот бессмысленен и безрезультатен, и, желая навести Джелаль-бея на другую мысль, сказал с насмешливой, иронической улыбкой:

— Боюсь, нет ли в вашем гареме коварной девушки,—и хотел покончить на этом разговор.

Джелаль-бей некоторое время молчаливо сидел на своем кресле, погруженный в глубокие размышления, затем сразу вскочил и воскликнул:—Дядюшка!

Дядя, не понимая, что хочет сказать этим ребяческим обращением его племянник, только-что говоривший с такой резкостью и смелостью, с некоторым изумлением спросил:

— Что случилось?

— Хотите вы спасти мою жизнь?

— Что ты говоришь, дитя мое? — спросил дядя со страхом, смешанным с изумлением.

— Я люблю...

— Кого?

— Несчастную рабыню..

— Какую рабыню...

— Дильбер...

Несколько минут оба молчали.

— Поговорите с моим отцом?.. Моя мать поклоняется богатству...

— Ребячество...

— Пусть так. Перед любовью сердце всегда ребенок.

— Хорошо. Я поговорю. Но ты все-таки подумай.

— Прошу вас, поговорите. Я думаю, что вы не захотите разбить мое сердце.

Джелаль-бей поцеловал руку дяди, размышлявшего о затруднениях и препятствиях, простился с двоюродными сестрами и сел на пароход, чтобы возвратиться домой.

Он думал, что, если бы возлюбленная его не принадлежала к несчастным рабам, он во всяком случае сумел бы защитить и предохранить от насилий такое несомненное право, как свободный выбор в женитьбе, и это повергло его в сильнейшее волнение. Он уже начал замысливать картину, которая показала бы всю незаконность, все зло браков, заключаемых по выбору и решению старших, вопреки желанию самой молодежи.

Он хотел изобразить комнату новобрачной и все душевное волнение молодой женщины, выданной замуж из стремления к богатству и роскоши и сидящей в этой роскошной комнате, наполненной редчайшими предметами, на которые было затрачено много стараний. Волнение это должно было проявиться во взгляде ее красивых глаз и тонких морщинках вокруг них. Все ее отвращение к нелюбимому мужу, которого она видала лишь один раз, художник хотел показать в опущенных в данную минуту книзу уголках ее губ, в болезненном искривлении рта, показывавшем ее белые зубы. Она должна была сидеть в позе, выражающей тоскливое раздумье.

Если бы ему удалось еще изобразить против этой грустной красавицы ее задумчивого мужа, взирающего на нее с молчаливым презрением, найти нужные для этого краски, необходимые линии, он повесил бы эту картину—достойный человечества воплощенный победоносный ответ на все те мысли и недоумения, которые не согласовывались с его собственными желаниями и надеждами,—в музей, где публика могла бы смотреть на нее с сочувствием и сожалением.

XII

Поздоровавшись с матерью и с отцом, Джелаль-бей поднялся в комнату, расположенную в самом верхнем этаже, чтобы поработать. Он нашел, что мать немного бледна, говорит и ведет себя не так, как обыкновенно, выглядит утомленной, но приписывал все это недомоганию, бывшему за два дня до того нервному припадку, который могуче повелевает женщинами и на несколько дней оставляет после себя истому. На этом он успокоился.

В предназначенной для высокого творчества комнате окна были завешены очень светлыми занавесями, около них—наброски, выдававшие одухотворенную руку, плоды мастерства великих художников, на стенах—незаконченные рисунки. В другом конце комнаты стояли краски, распространявшие вокруг себя слабый, не неприятный запах.

Он побродил с полчаса среди всех этих принадлежностей и атрибутов творчества, и в мозгу его начал возникать рисунок. Однако для того, чтобы приступить к работе, он продолжал представлять себе самые сокровенные уголки, самые темные стороны, самые трудные места своей композиции. В картине, к которой он собирался приступить, он хотел—хотя бы самым фрагментарным образом—показать знание человеческого сердца и сгорал от нетерпения. Но смущавшие сердце мысли, словно кокетливая подруга, не хотели идти в объятия его фантазии, возвышенные мысли словно птицы, сидящие на самой высокой точке земного шара, готовые взлететь, опускаясь вниз, крыльями своими разгоняли его фантазии. Он чувствовал это. От напряженной духовной работы все тело его начало слегка дрожать, на глазах навернулось несколько слез, выражавших внутреннее напряжение, он начал писать, но для его чрезвычайно чувствительной души могла дать

необходимую в этой работе силу только прекрасная черкешенка. Ему захотелось увидеть ее совершенную красоту, приносившую покой и душе и сердцу его. Да, он хотел ее видеть. Он нуждался в ее глазах, удерживавших разум влюбленного среди любовных бесед и возвышенных мыслей, нуждался в ее улыбке, возвещавшей о тысяче светлых мечтаний. Эти улыбки, это — божественное сияние, озаряющее самые мучительные, самые грустные стороны жизни...

Он работал... Для занятия высоким искусством нужно одиночество, ибо в это время душа находится в волнении. Нужен покой, нужно молчание, ибо в это время надо прислушиваться к внутреннему голосу сердца.

Прошел целый час... Кто-то заглянул в комнату, и Джелаль поднял голову:

— Что тебе нужно?..

— Ничего, я хотела убрать комнату.

— Оставь на сегодня.

Он заметил на лице служанки легкий страх, свойственный рабыне в минуты отчаяния и волнения. Ему захотелось изучить ощущения человека, мягкостью дознаться до причины этого страха и, исправляя набросок и заканчивая некоторые линии, он заговорил с ней отрывистыми фразами:

— Где же Дильбер?.. Почему ее не видно?..

Служанка ничего не ответила и пристально взглянула на Джелаль-бея. Несчастье подруги в рабстве, поверенной тайн, вызвало у нее какое-то странное, возвышенное состояние.

— Что с тобой такое?.. Почему ты не отвечаешь?.. Где ты научилась так обходиться со своими господами?..

— С тех пор как господа научились брать выросших в их доме несчастных рабынь за руку и выводить их на продажу...

Джелаль-бей, стоя с покрытой краской кистью в руках, поднял голову и уставился на рабыню.

— Я не понимаю... что ты говоришь?.. Ты с ума сошла...

— Конечно, слова рабыни непонятны тиранам. Дильбер! Она, ваша игрушка, ваша забава! Несчастная девушка. Если б она послушала меня... Да что вы, бога не боитесь? После всего того, что вы сделали, вы продолжаете развлекаться, словно ничего не знаете... Сжальтесь хоть немного... хотя, что я говорю... разве бей сжалится...

Кисть с краской выпала из рук Джелаль-бея, и он вскочил с места как раненый.

— Скорей говори... что с Дильбер случилось что-нибудь?.. Где Дильбер?

Он беспрестанно повторял эти слова. Рабыня не понимала, что с ним, и, испугавшись этого порыва, попятилась назад, чтобы выйти из дверей и крикнула:

— Дильбер продана!

Ответ потряс всю нервную систему молодого человека как удар грома при солнечном сиянии. Кровь прилила ему к голове, он как поваленная статуя рухнул ничком на землю.

XIII

Эту ночь Джелаль-бей провел в бреду, сильный жар сжигал его мозг. В ногах у него сидела мать, встревоженная, полная материнской любви, которая, достигнув известного напряжения, являет собой самое величайшее зрелище в мире. Она держала лежавшего в бессознательном состоянии сына за руку и беспрестанно с величайшим нетерпением спрашивала: — Джелаль, что с тобой?.. Как ты себя чувствуешь?

Но ответа не было. Благодатное действие утра несколько успокоило больного. Увидев, что сын открыл глаза, она нагнулась к нему и спросила: — Джелаль, душа моя! Что с тобой?

Она увидела, что губы ее любимца зашевелились, и, вслушавшись, расслышала одно слово: «Дильбер».

О, страшное имя, слово, губящее будущее ее сына, счастье ее дома! Она попятилась назад, словно увидела страшный призрак, и вышла из комнаты.

Она пошла к себе, и, когда Асыф-паша начал расспрашивать ее «как Джелаль?» — она почувствовала, что разрыдается, некоторое время старалась уклониться от ответа и, наконец, со слезами сказала:

— Ох, я совершила преступление... я погубила своего ребенка собственными руками... Всю ночь до самого утра он горел в жару. И первое слово, что он сказал... он позвал Дильбер. Я не вынесу этого.

Асыф-паша закурил сигару и промолвил:

— Не порти его судьбы из за-того, что он одну ночь пролежал

в жару. Я не могу согласиться на это безумие, свойственное юности Джелала.

Зехра-ханум видела, что жизнь ее сына в опасности. В величайшую минуту, вызванную непосильными для ее материнской любви впечатлениями, она пожертвовала всеми своими мечтами, отказалась от них.

— Нет, нет! Я приведу Дильбер... Я думала, что это легкое увлечение... Я не могу пожертвовать сыном ради мечты, из упорства. Если это случится, зачем мне все богатство.

— Ах эти матери... они сами портят будущность своим детям... Можешь быть уверена, что это легкое увлечение, непрочная фантазия, мимолетная прихоть... Он поволновался эту ночь, и все прошло. А теперь... ты опять хочешь приняться за это дело сызнова? Это в твоей воле... но я не дам согласия.

А в это время Джелаль-бей уже встал с кровати и ходил по своей комнате. От страшных впечатлений вчерашнего удара, его по временам охватывала дрожь, вокруг него открывались пропасти, заставлявшие кружиться его голову и тянувшие его в свою бездну.

Разве он был болен? Нет! Он чувствовал, что с ударом, обрушившимся на его природу, его покинули самые необходимые для существования свойства, как воля, сила и решимость, и ввергли его в небытие более страшное, чем смерть. В этом состоянии бессилия он опустился на стоявший возле него стул и уставился глазами в одну точку. Его ум хватался за грустные мысли, погибшие надежды освещали его как светильник освещает гробницу. Ему хотелось заплакать как дитя, и все же он не мог плакать.

Несколько часов он провел в таком состоянии. Затем ужас, проистекавший от временных перемен, какие случаются с человеком в минуты несчастья, и повергший его в это отчаяние и волнение, воплотился перед его глазами и уставился на него своим мертвым взором. Джелаль-бей в безумном порыве вскочил со стула и начал ходить по комнате как лев в клетке. Во имя блага человечества ему хотелось сразу уничтожить все дикие представления и ложные убеждения, с веками укрепившиеся в человеческом разуме и людских рассудках.

С такими мрачными мыслями он ходил по комнате, повторяя: «Дильбер... кто знает, кто сегодня владеет тобой?..»

Все надежды, вся смелость, все мечты сразу покинули его, оставили безутешным и одиноким, его охватило временное оцепенение, и он уставился остановившимися глазами в пустое пространство перед собой, как бы стараясь разглядеть там какие-то образы.

Он вступил в чрезвычайно нежный, чрезвычайно опасный возраст. Его измученные и издерганные нервы были готовы к восприятию различных впечатлений, его погруженное в мучительное отчаяние мышление было склонно более, чем когда-либо, останавливаться на каком-нибудь одном страшном представлении.

В отчаянии, печали, грусти он прислонился к окну. С самого утра дул северный ветер, белые облачки словно мыльные пузыри летели по небу и исчезали. С глубочайшей грустью Джелаль-бей смотрел на них. Он почувствовал необходимость подышать свежим воздухом и облегчить стесненную со вчерашнего дня грудь, оделся, взял в руку трость и вышел, никем не замеченный. Отвернувшись от сада, наполненного сотнями сладостных любовных воспоминаний, он медленно шел своим путем, не устаивая его даже единым взглядом. Его собственные впечатления не интересовали его, и он смотрел на чарующие красоты природы страшным взором, с гневом на лице.

Против него показалась знакомая маленькая гробница и вызвала в нем столь глубокое впечатление, что он свернул с пути, поднялся на холм и, чувствуя усталость, сел под деревом. С бесчувственностью, выдававшей бессилие его души и тела, он поглядел несколько минут на все места, к которым он ранее был так привязан, и устремил взор на Мраморное море.

Солнце, сияя грустным, влюбленным светом, садилось в море. Коршуны и ласточки летали над водой, издавая томные сердце крики. По морю медленно шел пароход, и дым его черной полоской тянулся к горизонту. Юноша взглянул на пароход, видневшийся на фоне солнца, в виде огненного шара опускавшегося в море, и из самого сокровенного уголка его сердца вырвался вопль:

— Дильбер, Дильбер. — Легкий ветерок, дувший в это время, принес звук какого-то голоса к внимательному слушателю и заставил его обернуться и прислушаться. Когда человек сознает свое бессилие и ничтожество, он у всех тварей ищет поддержки, ждет утешительной вести и от легкого ветерка и от плывущих

облаков. Так и для него в этой стороне все мельчайшие подробности, звуки и движения были сначала причиной величайшего внимания, потом отчаяния.

Певец понемногу приблизился, и оказалось, что это работник, целыми днями трудившийся на полях. Он не был знаком с духовной работой и заботами о будущем, — потребности его были невелики, и с веселой страстью он пел при свете заходящего солнца:

„Ах, малютка, пощади!
Не пришла ль она, гляди...
Дал обет, что буду ждать я,
О, приди же, друг, приди!
Знать, на горках ты устала,
На меня, знать, осерчала.
Все же будешь ты моею,
Ведь меня ты обнимала“.

О, счастливцев! счастливцев! Он не знает мучительных соображений и расчетов общественного мнения, не ведает пустых правил и убеждений, сковывающих его свободу. Как страстно мечтал Джелаль-бей о счастье этого человека, пребывающего в первобытном состоянии. Он отказался от современных наук, являющихся пределом человеческих познаний о всех существах, отказался от исследований научного метода и связанных с ним представлений и убеждений. Он понял, что научные дисциплины в конце концов приводят к отчаянным выводам, губят и стирают в покоренных ими мозгах все стремление к идеалу, эту единственную опору в жизни, и все человеческие утешения. Они обрекают его на отчаянные вопли совы в развалинах, они отравляют юные мысли и тела этими представлениями. Ему захотелось разделить счастье рабочего, пускай даже поденщика, не знакомого со всеми этими духовными опасностями, и он крикнул:

— Эй, погляди сюда! Ты куда идешь?

Работник сразу прервал свою песню и спросил:

— Что вам угодно?

Джелаль-бей медленно направился к нему. Он подыскивал какой-нибудь предлог, чтобы начать разговор, но ничего не нашел, и сказал:

— Есть у тебя огонь? Закурим по сигаре.

— Найдется, — ответил работник, скинул со спины мешок, его сегодняшний заработок, делавший его счастливым как богатейшая сокровищница, и достал из-за кушака трут.

Оба закурили сигары.

— Что у тебя в мешке?

— Моя работа, — и он пальцем указал на более чем наполовину вскопанное поле. — Я работаю там целыми днями. Все, что оно приносит, я кладу в этот мешок, несу домой, и мы едим с женой, благодарим бога и молимся за султана.

— Ты, значит, женат? А давно женился?

— Вот два месяца, что я взял мою невесту. Теперь она ждет не дожидается меня дома! Да и я иду, радуюсь, думаю: вот скоро увижусь с ней... Ты не был в нашей деревне на празднике?

— Нет, не был... а твоя жена красивая?..

Крестьянин нахмурился.

— А тебе то что за дело. Ты таких вещей не спрашивай.

Джелаль-бей понял, что сделал ошибку.

— Нет... нет... я хотел сказать, что же, ты доволен?

— Отчего ж мне не быть довольным? Много, много доволен. Я смотрю на богачей, да на знать, и воздаю богу хвалы. Третьего дня на том конце поля, возле одинокого мазара, раздетая молодая ханум бросилась на землю, да как разрыдается...

Джелаль-бей сразу вскочил, но вслед за сим опять сел.

— Знать, в сердцах под этим богатым платьем покоя-то нет. Как я посмотрел на нее, сердце у меня заболело... С ней была старуха, она попросила меня принести для ханум воды... Да ты что, плачешь, что ли?.. С чего же ты плачешь-то?..

— Нет. Рассказывай скорей, рассказывай.

— Да я больше ничего и не знаю... Пустяки! Что-то она нехорошее сделала, ханум на нее рассердилась и повела ее продавать. Да вы наверно знаете гораздо больше, только нехорошо так заставлять плакать из-за пустяков.

Со свойственной простолюдинам бесцеремонностью и простодушием, продолжал:

— У тебя наверно болезнь какая-нибудь... Вон ты сразу как покраснел.

— Нет, ничего. Говори, говори. Рассказывай. Что ты дальше делал? Что с девушкой случилось? Куда она пошла?

— Что ж с ней случилось! Принес я бедной девушке немного воды. Побрызгали ей на лицо. Потом старуха взяла ее за руку, и они пошли своей дорогой. Ты, правда, плачешь словно ребенок. Если есть у тебя горе, препоручи его богу. Он все, что делает, хорошо делает.

— Ты знаешь, куда пошла эта девушка?

— Нет, они пошли к пристани. Я принялся за работу.

— Если ты сообщишь мне, куда они пошли, я дам тебе сто лир¹⁾.

Крестьянин отодвинулся, словно испугавшись.

— Сто лир... девушка... сто лир... девушка... Боже ты мой, да что же я могу знать... Ты бы мне это сказал раньше... только, откуда мне было знать... сто лир!.. девушка!.. сто лир!.. девушка!..

Он немного подумал и снова взвалил мешок на спину.

— Что мне знать... откуда узнать... бог тебе в помощь.

Крестьянин, удаляясь от Джелаль-бея, снова затянул свою песню.

„С ветвей листва не сыпется,
Нейдет любовь из сердца прочь.
С тобой я раз увиделся,
Забыть тебя теперь не в мочь“.

Голос постепенно удалялся и наконец совсем стих. Джелаль-бей чувствовал, что слезы облегчили бы его муку, но плакать не мог. Слезы душили его, он в последний раз взглянул на дальние горы, на поля, воскликнул:—Дильбер!—и повернул домой.

Несколько раз он садился на краю дороги, словно был не в состоянии нести бремя своей душевной муки.

Подойдя к дому, он услышал, как его мать с волнением и беспокойством крикнула из окна нижнего этажа:—Джелаль, где ты был?—и тотчас же с горькими слезами как ребенок бросился в ее объятия. Эти слезы должны были облегчить его горе; поддержать его силы. Как легко, как обильно лились они в нежных и ласковых объятиях, казавшихся для него единственным убежищем в мире.

Грудь его матери стала влажной. По временам мучительно лившиеся слезы проникали и в сердце ее.

¹⁾ Около 90 рублей до-военного времени.

В каком бы возрасте ни находился человек, перед матерью своею он всегда ребенок. Трудно себе представить что-нибудь, что скорее могло бы вызвать сострадание у женщин, чем слезы мужественного взрослого человека. В особенности, если притом эта женщина его мать...

XIV

Стучит. Стучит с неимоверным нетерпением. Как грешник, из ада стучащий в райские врата, он стучал, по временам умолая:

— Откройте!

Перед ним была развалившаяся булочная с окнами, закрытыми ставнями, какие делали полвека тому назад. Позади—старый готовый разрушиться дом, выглядевший так, словно янычар снес ему голову; цветные стекла в окнах были разбиты; две ласточки, строившие внутри гнездо, влетали в дверь и вылетали из окон. Рядом с этим домом была покинутая кузнечная мастерская, около нее другой дом, выходивший на другую улицу, под углом к первой. Около этого дома под проливным дождем стоял Джелаль-бей с пожилой женщиной и непрерывая стучал в дверь, не получая ответа.

Внезапно, в каком-то порыве безумия, он сразу несколькими ударами кулака заставил распахнуться эту дверь, которая совершенно не могла сопротивляться его мощным рукам. Дверь распахнулась, и он ринулся во внутрь. Через четыре или пять минут он вытащил за ворот на улицу человека, спавшего в одной из выходящих в сад комнат, и закричал на него:

— Говори! Где Дильбер?.. Если не скажешь, клянусь богом я тебя сегодня же заставлю убраться в могилу!

Внезапно, сжав в нервном припадке руки и чуть не разорвав ворот куртки, он начал умолять:

— Неужели ты не скажешь?..

Человек не понимал, почему рука судьбы вцепилась в его ворот, и с изумлением вопрошал:

— Что вам нужно?.. Что я вам сделал?

В это время из переулочка напротив появился вытянув распростертые руки сторож квартала и прервал его быстро сыпавшиеся вопросы:

— Что случилось?... На чем вы тут не сошлись?..—грубо крикнул он.

Старуха заговорила дрожащим от страха голосом:

— Сыночек, куда уехали жильцы этого дома?

— Они выбрались третьего дня,—ответил сторож: — прочь ли уехали... куда... не знаю... почему мне знать... А что вам надо от этого несчастного человека?

Услышав этот ответ, Джелаль-бей выпустил из рук ворот, постоял некоторое время как бы в оцепенении, а затем воскликнул:

— Если ты узнаешь, куда они выехали, я озолочу тебя!

Сторож немного подумал и ответил:

— Ты мне дай свой адрес. Я порасспрошу людей. Наверно я что-нибудь узнаю и сообщу тебе. Это была пожилая женщина...— Он собирался продолжить свой рассказ, когда его прервала женщина, продавшая в этот дом Дильбер.

— Я их тоже не знала. В тот вечер мне на скорую руку указали этот дом. Ах, ведь помнила же я их имя...

Но не успела она закончить своих речей, как Джелаль-бей приблизился к ней.

— Торговка людским телом! Позор человеческого рода! Адское отродье... если б ты не была женщиной, клянусь богом, я тебя немедленно задушил бы своими руками!—крикнул он, несколько раз поглядел на нее страшным взором, быстрыми шагами пошел по улице и вскоре скрылся из виду.

Что же теперь делать... Неужели терпеть до конца эту жизнь, чувствуя в себе палящий адский огонь... Стоит ли жить, если в жизни нет цели.

Его остановили, заставили заплатить за сломанную дверь и оставили в покое.

Дождь лил и лил. Не переставая шел этот дождь!

Это прекрасное создание, открывшее ему бесконечное изящество высокого художественного вкуса, кто знает, быть может, она сейчас в руках какого-нибудь дикаря или негодяя!

Как забыть блестящие глаза, в которых светится дух, словно зеркало отражающий все высокие идеалы! С тех пор как скрылась эта улыбка, похожая на свежее утро, с тех пор как скрылись глаза, две звезды, взошедшие на небе счастья, он не мог себе

представить, какую усладу, какую прелесть можно найти в восходе солнца и звездах. Без нее небо, земля, все существа казались ему пустыми, бессмысленными, лишенными света. С тех пор как он был разлучен со своей красотой, со своим миром, своим воздухом, он не видел необходимости жить далее.

Модель для его высокого искусства скрылась, ибо кто же мог теперь поведать ему о безграничных и беспредельных тайнах любви, о которых возвещали ему эти глаза? Откуда он мог познать смысл вечности, сокрытый в этой улыбке? Где мог найти дивные краски ее лица, которое он считал самой блестящей страницей из чудес природы, где мог найти такое совершенство линий? Он находил, что жизнь его стала вещью совершенно для него бесполезной.

Дождь лил и лил! Не переставая шел этот дождь!

Он не чувствовал, что капли воды льются с крыш домов, попадают ему за воротник и проникают до самого тела, не видел, что грязь забрызгала его усталые ноги до самых колен.

Где он находился... в Азии? Или в Африке? Если бы он был средневековым королем, он объявил бы войну Азии и выросшей среди крови дикой, древней Африке, делающей всякую ящерицу крокодилом, всякую кошку тигром.

Без надежд, без сил, он продолжал свой путь и говорил про себя так громко, что и другой мог бы расслышать его:

— Ох, как я измучился!

Самоубийство, этот отказ от выполнения налагаемых на нас природой обязанностей, оружие, которым борются с судьбой застывшие мысли, лучшее оружие отчаяния, мягко и вкрадчиво шептало ему на ухо: «Я освобожу тебя от этой вечной муки!..»

Он почувствовал, что по всему его телу пробежала дрожь, ускорил шаги и, повторяя про себя: «Да, да», пошел на пароход и сел в углу. Там сидело еще два человека, беседовавших друг с другом. Некоторое время спустя один из них украдкой показал другому на Джелаль-бея и заметил:

— Смотри, сам с собою разговаривает!

— Да! Что ж, сумасшествие бывает различных видов!

Они рассмеялись. Прошло около пяти минут, и в каюту вошел человек с газетой, дружественно протянул Джелалю руку и приступил к беседе в таких обычных выражениях:

- Как поживаете?
- Спасибо, хорошо. А вы как?
- Благодарение богу.
- Я увидел вас на дороге: вы чрезвычайно торопились.
- Я боялся упустить пароход...

Услышав эти слова, два человека, сидевшие в углу, люди, чуждые умственной работы, прислушивающиеся на дорогах и на пароходах ко всякому разговору, иногда вмешивающиеся и всегда ищущие повода посмеяться, расхохотались самым неудержимым образом.

— Вы наверно ошиблись... Ведь до отхода парохода еще двадцать минут.

— Да! Уже несколько дней мои часы обманывают меня... Обманывают, говорю я. Они попросту играют со мной. То они заставляют меня бежать самым утомительным образом, то дают разрешение медлить и заставляют опаздывать на пароход. Суждение испорченных часов напоминает рассуждение бестолковых мозгов!

— Сколько времени мы с вами не виделись. Я все не мог встретиться с вами. Сегодня вы что-то бледны. Вы не чувствуете себя нездоровым, от чего упаси вас боже, или...

— Нет, со мной ничего не случилось. Сегодня очень дождливый день, и мне кажется, что я немного простудился.

Джелаль-бей уверился, что тот не в состоянии понять ни единого слова, вынул из кармана маленькую книгу и погрузился в чтение; сосед его занялся своей газетой.

Прошло около пятнадцати минут; Джелаль-бей занимался чтением, но из своей маленькой книжки не перевернул и одной страницы. Сидевшие в углу два человека, завидовавшие всякому таланту, грубой насмешкой, проистекавшей от недостатка воспитания, старавшиеся ранить человеческое достоинство, непрерывно толковали о нем и все время смеялись.

За пламенным взрывом страсти, нарушившим равновесие и духовных и физических сил несчастного юноши, последовал холод, напоминавший смерть и спокойствие. Но внезапно это расслабленное спокойствие сменилось приступом ярости и бешенства: он вскочил с места, мощной рукой, похожей на статую Геркулеса, схватил за ворот одну из личностей, смеявшихся в углу, заставил его встать с места и с силой посадил на пол.

— Вы уже целый час глядите на меня и смеетесь! Теперь поплачьте-ка немного под моей ногой! Если вы не скажете мне, почему смеетесь глядя на меня, не сообщите своего секрета, я раздавлю вас своей ногой. Говори! Ты не работородец?

Знакомый Джелаль-бей так перепугался этого, совершенно неожиданно охватившего юношу приступа ярости, что выронил из рук газету. Поле действия было расчищено. Эти низкие люди, наглости которых не было предела, готовы были попать и растоптать честь и достоинство, но когда появлялось такое величие, всегда самым унижительным образом ползали по земле. Пойманный и зажатый в могучей руке умолял отпустить его, а его товарищ старался выбраться в дверь, к которой Джелаль-бей прислонился спиной. Джелаль-бей схватил его за руку:

— Почему вы смеялись, глядя на меня? Или он... что перед вами. Скажи, ты живешь не работородец? Говори, слышишь ли! Если вы это скроете, не ждать вам обоим добра!

В это время вмешался приятель Джелаль-бея и начал пытаться уговорить его и успокоить его ярость вкрадчивыми словами:

— Оставьте их в покое! Разве годится поднимать такой скандал в каюте? Сядьте на свое место! Вы не откажете мне в моей просьбе, я уверен в этом, ведь я прошу вас ради вашего же блага.

Джелаль-бей немного пришел в себя, сел и, переводя дух, сказал:—Если вы согласны, прошу вас. Сколько сот лир вы бы ни потребовали, я готов!..—Потом, совершенно придя в себя, как бы очнувшись от сна, воскликнул:—Что я говорю? Меня внезапно охватил порыв, я вас обеспокоил, простите.

Обе личности сразу после этого инцидента покинули каюту, а пароход привалил к пристани Кади-Кей.

Дождь лил и лил, не переставая лил этот дождь!

Он направился по дороге к дому и внезапно увидел пожилую женщину и девушку, которые заворачивали в другой переулок. Он вытянул вперед голову словно сокол, увидевший дичь, и впился в них глазами. «Ведь это она...», молвил он про себя и с величайшей поспешностью завернул следом за ними в тот же переулок. Легкая походка... чарующая фигура... она, она... несомненно она... ее манера держать зонтик... она беседует со старухой, которая

идет рядом с ней; идет грустно и задумчиво... она, она... Сильное сердцебиение отняло у него всякую силу и возможность следовать за ними.

Но с самого раннего детства своего он воспринял от воспитателей принцип почтительного отношения к женщинам; говоря другими словами, к народной чести, этот принцип столь прочно укрепился в его мозгу, что и теперь, когда он в приступе безумия следовал за этими женщинами и испытывал сильное желание крикнуть им: «Остановитесь на минуту!», чувство долга мешало ему. Он страшился того, что истина может раскрыться, и не решался приблизиться к ним.

У него не хватало сил вынести мысль о том отчаянии, которое он испытал бы, если бы это оказалась не она, и той радости, которую ощутил бы, если б это была она. Он говорил про себя:

«Ах, если б мне только удалось найти ее. Все силы мира не смогли бы вырвать ее из моих рук».

Женщины подошли к дверям большого дома; они войдут туда и скроются... Взглянуть, хоть один раз! Невозможно! Его ноги дрожали, он задыхался. Они постучали в дверь, собираются войти... Как молния он бросился к ним, но сейчас же как огорошенный отскочил и прислонился к стене в соседнем переулке.

Эта молодая девушка... была не Дильбер!

XV

Эту неделю он провел как сумасшедший. Ему самому это время показалось вечностью. Безмолвный, беззвучный как призраки, то появлявшиеся, то скрывавшиеся в темной ночи его отчаяния, устремлявшие на него взор и кутавшиеся в покрове ночных тайн, он набрасывался на свои видения: «Она у тебя... в твоём доме... если отдашь, озолочу тебя... не отдашь, убью!»

Дело дошло до того, что однажды под гнетом жизни, являвшейся для него сплошной мукой, он набросился в уединенном переулке на молодого человека, веселого и жизнерадостного, своим веселым лицом вызывавшего радость у всех окружающих и с беспрерывным смехом беседовавшего со своим спутником:

— Отчего ты так счастлив?.. Можно подумать, она... несомненно... у тебя... Теперь один из нас должен погибнуть!..

Молодой человек хотел обороняться, хотел передать Джелаль-бею полиции, но спутник его, сорокалетний пожилой купец, отвел его в сторону, говоря:—Оставь этого несчастного...—а затем добавил:

— Этот несчастный юноша талантливый художник. Как я полагаю, он от любви дошел до такого состояния, что, впрочем, видно из его слов, в особенности же из голоса и всего поведения.

Объяснив таким образом это происшествие, он вызвал у своего спутника сострадание к Джелаль-бею.

На этой же неделе, как-то утром, он возвращался от маяков, плававших как зеленые плоты на гладкой поверхности Мраморного моря. Благодатное действие утра придало прозрачность небу, под которым легко и свободно дышали поля и дороги. Джелаль-бей шел своим путем среди полной тишины.

Несколько раз он ложился на спину среди полей и, устремив глаза на небо, взывал:—Боже мой, что же мне делать?

Пройдя среди этой тишины большое расстояние и дойдя до мыса Мода, он услышал плач, доносившийся из какого-то дома. Он сразу остановился:

«В этом доме плачут... а если Дильбер там...»

Он подошел и постучал в дверь.

Дверь открыла старуха.

— Кто это плачет наверху? — спросил он.

Старуха решила, что это один из путников, постоянно заходивших в дом, и ответила:

— Ох, не спрашивай. Эфенди помер.

Подошли люди, чтобы отнести покойника на кладбище. Юноша, увидав их, воскликнул:

— Оставьте этого несчастного! Настоящий покойник—я. Меня похороните.

XVI

Никто в эти горестные дни не был в таком, взволнованном состоянии.

Дома он в течение трех дней ни с кем не разговаривал. На

третью ночь он не мог сомкнуть глаз ни на одну минуту и до самого утра ходил по балкону, где впервые увидел Дильбер. По временам он устремлял взор на горизонт и, казалось, ожидал кого-то. Дул бурный ветер, заставивший взволноваться море. Длинные волосы юноши развевались, задевали его лицо и приводили его в еще большее волнение. Иногда он останавливался и прислушивался к шуму волн, разбивавшихся у берегов.

Восток был покрыт мраком, густая тьма царила и на западе. Ветер крепчал с каждым мгновением и заставлял реветь и стонать под его ногами море. Казалось, что среди этой страшной бури он ожидал появления надежды с приходом утра. Немного спустя он бросился в кресло, стоявшее на балконе. Величественное, могучее утро озарило восток. Юноша устремил в одну воображаемую точку свои полужакрытые глаза и начал восклицать: — Нашел... нашел!

Пролетело ли перед его глазами видение? Или смятенному и взволнованному разуму почудилось что-то? Как бы там ни было, он вскочил на ноги, словно Архимед, сделавший чудесное научное открытие, с непокрытой головой, босиком, все время восклицая:

— Нашел!.. — ворвался в дом и разбудил всех обитателей его. Выбежал на улицу, его вернули назад. Но в это время призрак, носившийся перед его взором, вероятно скрылся совершенно, ибо в каком-то оцепенении он поднялся наверх и прошел в комнату, где находились мать, сестра и отец. Его глаза видели всех, но он никого не узнавал. В ответ на горестный возглас матери:

— Джелаль! Неужели ты не жалеешь своей матери?.. — он совершенно безучастно остался стоять у дверей. Немного спустя, он медленно, медленно подошел к сестре и остановился. С величайшим усилием он вымолвил только:

— Она теперь одалиска, — заломил руки и упал без чувств в объятия своей сестры. Мать и сестра с горькими слезами уложили его в постель. В то же утро были собраны врачи, которые заявили, что его болезнь — сильное воспаление мозга и что хотя положение его очень серьезно, но все же терять надежды не следует.

XVII

Это было в Египте, в доме некоего купца, разбогатевшего превыше всякой меры благодаря счастью и удаче. Дом этот был выстроен в подражание дворцу Альгамбры, в арабском вкусе, и редчайшими произведениями искусства мог повергнуть в смятение и удивление даже самого скептического человека. Внутри он был полон царственных драгоценностей, изящных и прекрасных вещей.

В переднем углу одной из комнат стояло низкое сиденье в роде трона из черного дерева, украшенное изображением цветов, по углам возвышались массивные колонны, соответствовавшие представлению о красоте в арабском стиле. На стенах и потолке, украшенном красными и синими полосами и позолотой, были написаны строки стихов, восхвалявших африканские сады и Нил.

В эту ночь этот салон, переносивший в мир действительности волшебную часть сказок «Тысяча и одной ночи», был полон музыкантов и танцовщиц.

Окна салона выходили на большой зеленый луг. Посреди цветов виднелись апельсиновые деревья; стены, окружавшие сад, были совершенно скрыты, словно свежей зеленой завесой, чрезвычайно широкими листьями бананов, и из этой листвы, подобно дыханию невидимой феи, доносились сладостные ароматы вместе с дуновением свежего, легкого ветерка.

В конце сада виднелись пирамиды, несколько тысячелетий упорствующие против натиска природы и как-будто желающие померяться силами с потоком времен, сносящим и уничтожающим все существующее в мире. Позади них возвышались пальмовые деревья, стоящие томно и грустно, как-будто тоска и печаль пустыни заразила и их. От их вершин и от озера, отражавшего длинные лучи закатного солнца, окрасившего в розовый цвет всю эту часть Африки, среди ночной тишины в салон врывалась легкая, приятная свежесть.

Волшебная сказка! У подножия высоких колонн сидели на низеньких пуфах чарующие дочери Кавказа, все как одна одетые в платья из белого атласа, с длинными распущенными волосами. Они играли на различных музыкальных инструментах, в роде скрипок, лютен и цитр, величавые, свежие, страстные мелодии,

которые могли бы заставить спуститься небесных ангелов. Двадцать или двадцать пять бесценных красавиц танцевали. Они были одеты в короткие одеяния из светло-голубого бархата с золотыми нитями, их длинные распущенные волосы волнами спустились до самых колен, открытый ворот платья позволял видеть белую, прозрачную как хрусталь грудь, от которой поклонник красоты целые дни не смог бы отвести взора.

На ранее описанном нами троне сидел сам купец. Окруженный красотой и цветами в нежной атмосфере счастья, сотрясаемой чарующими сердце звуками, он уже дошел до состояния полного опьянения.

На этом веселом восточном пиру, похожем на волшебные сказки, покорившие всю Европу и придавшие блеск каждой фантазии, привлекала внимательный взор одна из девушек, игравших на лютне. Ее лицо было такого же прозрачного, чистого цвета, как и белый атлас, длинные ресницы бросали легкую тень, а чрезвычайно печальный взор, сверкавший словно слабые лучи утренней звезды через листву деревьев, по временам устремлялся на сад через открытое окно. Все веселились, радовались, пылали страстью, а на ее глазах и приоткрытых, бледных, указывавших на волнение чувствительного сердца губах бродила печальная улыбка, словно белые бабочки, порхающие над лепестками цветка, застигнутого осенью.

От тяжести густых черных волос, тщательно оттенявших бледность лица этой девушки, издали выделявшейся среди всей этой одухотворенной красоты пропорциональностью своего дивного тела, или от резкого, сильного аромата цветов, усиливавшегося с наступлением ночной свежести, но ее маленькая головка раз или два склонилась вперед. Если бы можно было подойти ближе, можно было бы расслышать, что ее губы еле слышно, как голос птенчика, доносящийся из гнезда, шептали какое-то имя, сопровождавшееся подавленным вздохом.

Отнесемся с почтением к думам юной девушки, к тайнам юного сердца и не будем допытываться более старательно.

Но только... почему она так грустна... почему в таком смятении... В темном углу, за величавой колонной сидел один из стражей гарема, запуская в свои курчавые волосы длинные пальцы. Он был предан своему господину настолько, что пожертвовал бы

для него и жизнью. Он всем говорил, что его эфенди, обладатель такого богатства и такой роскоши, выше всякой меры пленен этой девушкой и возвестил об этом и самой рабыне.

Расследовать эту тайну дальше мы не можем себе позволить, так как наше перо обязано сохранять секрет. Зачастую тайны, скрываемые молодыми девушками с величайшей старательностью, раскрывает одна слеза, одна улыбка.

По мере того, как в салоне становилось все веселее и радостнее, в мозгу у стража гарема, — назовем его по имени, — у Джевхера-Аги начали роиться неведомые мне мрачные мысли. Взглянув на его лицо, страшное как бурная ночь, на его глаза, сверкавшие как молнии, можно было предположить, что он проклинает природу за то, что родился черным, и суданцев за то, что его сделали евнухом.

Бедный Джевхер! Птичку, которая не успела последовать природным склонностям, не почикала среди зелени, не попорхала среди ветвей деревьев, взяли из пустыни, где не было ни капли воды, привезли в сад, где журчали ручьи, зеленые деревья вздымались к синему небу свои вершины, окружая луг, наполненный яркими цветами, и выпустили... подрезав крылья; так и его взяли из сухого, испепеленного палящим солнцем Судана и привезли в этот салон в Египте. Как эта птичка в том саду смотрит с тоской на проносящиеся над нею облака, на других птиц, на деревья — этот мимбер птиц¹⁾, так он в этом залитом огнями салоне палящим взором смотрит на этих красавиц, из которых каждая, казалось, спустилась сюда из мира красоты. Как эта птица видит над своей головой беспредельное небо, стремится взлететь к нему и в отчаянии чувствует свое бессилие, так он по временам смотрел в прелестные глаза этой девушки, небо красоты ее, казавшиеся евнуху глубокими до беспредельности, и тогда ощущал такое адское пламя обездоленности.

Джевхер все время следил за девушкой, которая играла на лютне и выделялась среди прочих своей пропорциональностью, ясной прелестью и духовной красотой. Ему хотелось установить истину, распутать затруднение, ибо от его наблюдательного взора не могла укрыться печаль этой рабыни и ее грустный вид.

¹⁾ Мимбер — кафедра проповедника в мечети.

В жаркое время года в Африке по ночам месяц светит так ярко, что свет его ярче ясного дня в Европе, в особенности в Лондоне. В такие ночи спускали лодку на блестящую поверхность озера в саду, этого зеркала любви, как его можно было бы назвать, с самого утра сотворения мира и до этого мгновения остававшегося невинным младенцем.

На берегу озера из зубчатых скал вытекали небольшие ручьи, прокладывали себе маленькие дорожки среди лугов, являясь для них водою жизни, текли под смятенными и очарованными деревьями и по праву могли бы называться ручьями, уносившими мысль в века легенд. Беспокойное отражение деревьев, овеявших озеро свежей тенью и стоявших на берегах его в спокойствии и молчании, удлинялось и ширилось на воде; по временам на воду падали пестрые лепестки цветов и то подплывали к чарующим берегам, то удалялись от них. Рабыни гребли сидя в лодках, и свет месяца придавал особую прелесть их светлым волосам. Джевхер, уже несколько дней ни на шаг не отходивший от этой девушки, усадил ее в маленький челнок и повез в самую уединенную сторону озера.

В одном из уголков озера, где акация спускала к самой голубой воде свои блестящие при свете месяца колышущиеся кудри, он привязал лодку к выступу и остановился.

Девушка была погружена в горестные мысли.

— Ты все думаешь... постоянно думаешь! Но о ком?..— воскликнул евнух. — Не бойся меня! Считаю меня верным другом! Если лицо у меня и черное, то ведь душа-то может быть и не темной. Хоть я и убогое существо, но разве сердца у меня нет? Разве я никого не жалею, никого не люблю? Если ты хочешь, чтобы я был твоим другом, твоим братом, считай меня сестрой. Мы будем советовать с тобой.

Джевхер увидел, что девушка, испытавшая столько горестных и печальных впечатлений, не решается обратиться к нему за сочувствием и раскрыть сокровенную тайну своего сердца.

— Не остерегайся! Никто не слышит. Не бойся! Эти деревья, эти цветы молчаливы. Нет здесь человека, способного на низость,— сказал он. На глазах у рабыни навернулись слезы.

— Какой толк от того, что я расскажу тебе о моем горе, моей

тайне... Разве не безжалостно было бы говорить об этом и ранить твое сочувствующее мне сердце?..

Джевхер вскрикнул в порыве чувств:

— Ох, нет, нет! Я спасу тебя. Я найду средство утолить твою печаль. Говори! Расскажи как тебя разлучили с дорогой матушкой, что ты ощущала в твоей стране, если еще недавно приехала, когда на берегу реки твоя голова покоилась на коленях у милого, как билось твое сердце, когда ты смотрела на горы и холмы, покрытые снегом.

Разве ты не ждала в беспредельных диких лесах, под сенью деревьев, вздымающих свои вершины к самому небу, милого своего жениха? А если ждала, то как билось твое сердце? Как пели птицы среди леса? С каким волнением ожидала тебя мать, когда ты возвращалась домой? Говори! И я попытаюсь изобразить тебе, как я был счастлив в объятиях слабых рук моей матушки, защищавшей меня в моей стране от палящего солнца, от свирепых хищников... Как в лунные ночи, в пустыне, наши девушки с кувшинами на голове шли за водой, напевая грустные, грустные песни... их голоса все еще звучат в моей памяти. Ах, ты не знаешь, я думал, что красивее этих девушек, этих фей пустыни, нет никого в целом мире, не можешь понять, какими прелестными казались мне эти темные лица среди жгучей пустыни! В этой Африке, заставляющей созреть раньше времени, скорее чем надо, всякая вещь, всякая тварь еще в моем детстве пробуждала мои чувства. Не раз я говорил себе: эти вьющиеся волосы опасны, они как плющ, раз спутав сердце, уже не выпустят его. Ах, да могу ли передать все! Я слышал, что ангелы летают по небу и думал, что они тоже черного цвета. А теперь... Ах, теперь! Давай, если хочешь, поплачем друг над другом!

Джевхер кончил свою речь. Девушка опустила голову, нервным движением поиграла рукавами своего энтари ¹⁾ и сказала:

— У меня нет горя. А только... я здесь не останусь. Я отправлюсь в Стамбул.

— В Стамбул? Отчего же? Отчего?

— Потому что...

— Ах, понимаю! Признайся!

¹⁾ Короткое платье, какое носит на Востоке простой люд.

— Потому что, если я останусь здесь, я не могу жить. Поэтому что...

Она сразу горько расплакалась и бросилась в объятия Джевхеру. Он увидел, что эта светлая красота считала его объятия единственным убежищем, единственным покровом во всем мире, обнял ее своими слишком длинными, слабыми, непропорциональными руками и, подняв к небу свое мрачное лицо, промолвил:

— Боже мой! Видишь ли ты эту несчастную Дильбер?

Среди торжественной африканской ночи, под деревом, осенявшим своей сладостной тенью райское озеро, Дильбер, склонная поведать тайну своей любви, рыдала в объятиях Джевхера, с самого прибытия ее твердившего ей, что будет для нее нежной сестрой, будет нести ее печали и разделять ее радости.

— Довольно! Ты изранила мое сердце, довольно! — шептал он, нагнувшись к ее уху: — Я спасу тебя! Аллах поможет твоей любви.

Он был уверен, что может спасти ее, и старался успокоить ее этими пламенными речами. Затем оба сели в маленький челнок и повернули назад. Когда они причалили к берегу озера, то тут, то там под густыми деревьями слышались звуки лютен и скрипки. Девушки, не успев вернуться в павильон, начали прогуливаться среди деревьев и по лугам и напоминали группу ангелов на большой картине среди облаков или тумана.

Джевхер словно тень ни на шаг не отлучался от своей лучезарной красавицы.

Дильбер легла в постель, но до самого утра не могла найти покоя; она встала в сумерках и хотела выйти из комнаты; там на пороге дверей она увидела что-то черное и в испуге попятилась назад.

Внимательнее приглядевшись, она с величайшим изумлением воскликнула: — Джевхер! Почему ты лежишь здесь?

Лежавший на земле поднял руки.

— Я сторожу тебя, чтобы ты могла спокойно спать в твоей комнате, — ответил он.

XVIII

В связи со всеми этими событиями и происшествиями Дильбер видела много неприятностей, много плакала, испытывала благородное негодование перед беззаконием человечества. Но ее нежная природа не была знакома с резкостью, и никакая сила не могла раздражить ее.

Но в то утро, когда она сквозь слезы смотрела на улыбающуюся около нее женщину, в ее пристальном взгляде чувствовалась резкость, в словах, друг за другом вылетающих из ее маленького, изящного ротика, было раздражение, во всем ее поведении необычайная пламенность. Она говорила с величайшей страстностью, сжимала руки, слова исчезали среди ее зубов, подобранных природой для украшения ее лица с такой старательностью, с какой обыкновенно подбирают жемчужины, ее речи тонули в слезах, она дрожала от возвышенных чувств и отвращения, в страстном порыве любви ей хотелось быть уничтоженной, раздавленной, и волосы ее становились дыбом. Чтобы не слышать, она затыкала уши руками. Это «предложение» сразу привело в волнение все ее спокойствие, всю нежность, как буря заставляет вздымать волны спокойное озеро.

Владелец, увидев, что его «предложение», вручавшее купленной рабыне драгоценности Индии, передававшее в ее распоряжение сокровищницу со всеми богатствами купца, не может приручить ее сердце, прибегал к резкости и угрозам. Все бесполезно! Поистине, эта рабыня не понимала разумных доводов. Упрямец не считалась с лаской и благородством. Неблагодарная не повиновалась приказу своего эфенди. Она была мятежницей.

Нет! Для тех, кто умеет анализировать человеческое сердце, это было не так. В ответ на все угрозы и предложения Дильбер проявляла железную волю, которой не могло одолеть ничто. По восточным представлениям раковина, захватив одну каплю апрельского дождя, закрывается и прячет в себе жемчужину. Так

ее сердце хранило вызванную Джелаль-беем любовь, не позволяло проникнуть ни одной надежде, ни одному желанию, но открывалось навстречу любезности и благородству, с чьей бы стороны оно ни исходило.

Она с величайшей готовностью и радостью способна была принести жертву любви и хотела обладать спокойной совестью, которая могла бы усмирить любую боль в ее мучительной жизни. Она резко сказала стоящей возле нее женщине:

— Если у вашего эфенди есть казнохранилища и драгоценности, то у меня есть сердце. Разве я, одалиска?.. Когда я вижу его лицо, я вся дрожу от отвращения. Иди, скажи ему это!

Терпение женщины лопнуло, она тотчас же отправилась к хозяину и категорически заявила ему, что, если дерзость, непокорство и наглость этой рабыни останутся безнаказанными, она не станет долее в этом доме воспитывать девушек. В виду этого было поручено запереть Дильбер.

Из всех обитателей дома это решение и этот приказ взволновал только Джевахера, доведя его до состояния, близкого к помешательству. Громким голосом он кричал в конце коридора, восхваляя благородство черкешенки, доблесть ее, ее внешнюю красоту и выкрикивал:

— Разве годится, чтобы такие люди гибли в руках африканских купцов?

Среди таких криков Дильбер отвели во второй этаж и посадили в холодную, неприветливую комнату, куда железные ставни мешали проникнуть дневному свету. Она улыбнулась скорее грустной, чем веселой улыбкой, и промолвила:

— Вот Клеопатра и сидит в заключении в Египте.

Это имя, которым смеясь прозвал ее друг, казалось ей чрезвычайно сладостным. На вторую ночь своего заключения Дильбер была как бы раздавленная жестокими, чуждыми человеческому разуму мыслями, сидела в раздумьи, опустив свою округлую, белую, изумительную, слегка удлиненную шею.

Перед ее задумчивым взором проходил целый ряд призраков, первоначальные краски которых были стерты рукой времени. Она видела, как в детстве искала свою мать в пустом месте, как в доме работоторговца, напоминавшем средневековую темницу, поздней ночью проводила время с терзавшими ее свирепыми ноч-

ными существами. Цепь происшествий показывала ей видения и дальнейших более близких событий. Она чувствовала прикосновение руки Джелаль-бея к своей стройной талии, ощущала пламя первого поцелуя на своих губах. Она думала о своем теперешнем положении и чувствовала, как раскрывались раны ее сердца и как из них понемногу начинала сочиться кровь.

Когда сопровождающее человека до самого конца жизни его тело начинает деформироваться, воспоминания юности придают старому лицу красоту молодости, свежие краски, словно сияние поздней весны, озаряющее высохшее дерево. Но эти воспоминания для нее были отравлены дикостью и резкостью ханум, ее первой хозяйки. Она закрыла глаза.

Она рассталась с садом, с местом свиданий, с любовью, с милым, она одна, заключена в темницу в Египте; кто же спасет ее отсюда? Ей казалось, если она в состоянии глубочайшего экстаза поднимет голову и взглянет назад, она услышит первые слова своего милого: «Ты не знаешь, как я люблю тебя...», увидит его лицо; сердце спалено, любовь продана, будущее ушло, все там... все позади. Она достала портрет, во многих местах попорченный слезами, и устремила на него страстный взор. Эти большие темные глаза выражали решительность и мужество, это лицо, полное осмысленности, эти черты, выражавшие силу и сострадание... И все кончено, все погибло.

Она молвила про себя:—В этой комнате так неприветливо, тебе холодно, ты зябнешь,—и снова спрятала портрет.

Она размышляла. Какое выразительное молчание, какая глубокая задумчивость!

Вдруг она услышала около окна комнаты вначале слабый, потом все более и более усиливавшийся шорох. Она в испуге начала внимательно вслушиваться! Шорох все усиливался. В смутении она протянула руку, оперлась на ковер, глаза ее от страха и ужаса раскрылись еще больше обыкновенного, и она уставилась на окно. Откуда мог раздаваться этот шорох, после полуночи, что за странное дело? Откуда раздавался этот звук? Разбойник,—убийца,—быть может, наступили ее последние минуты. Ее рот раскрылся, волосы стали дыбом. Она была брошена среди пропасти жизни и смерти, одна, в этом углу забвения, в комнате,

где кроме нее были только ни на минуту не покидавшие ее мысли, в комнате, из которой бежать, как полагали, нельзя... Кого же собирается поразить кинжалом эта железная рука, которая старается сломать высокие ставни и окно? Кого она хочет похитить из этой комнаты, с кем бежать в сумрак ночи? Мысль о насмешках и появлениях бесформенных и безличных ночных существ, в минуты отчаяния и безнадежности нападающих на человека, скрывалась в уголке ее мозга. Страх, которого не мог удалить ни опыт, ни приобретенное знание, сотрясал ее, и она готова была расстаться с жизнью. В это мгновение окно резко запахнулось, так что вся комната задрожала. Какой-то человек, голова и руки которого во многих местах были покрыты кровью, бросился в комнату. В ужасе Дильбер спросила.

— Кто это..?

Пришелец, задыхаясь, ответил:

— Не бойся! Я, Джевхер! Сейчас спускайся вниз по этой лестнице. Только скорей, нельзя терять времени.

Джевхер! Не может быть!

Дильбер подбежала к Джевхеру, схватила его покрытую кровью руку.

— Как мне поблагодарить тебя за твою доброту, за твою услугу? — воскликнула она. Но Джевхер ничего не слышал, ничего не понимал.

— Скорей, скорей! Потеря крови обессилила меня. Я разрушил все препятствия. Сломал железо. Скорей, торопись к твоему милему, на волю. Пусть завтра весь Египет поразится и изумится, что слабая рабыня, измученная красавица, нежными руками сломала железные ставни и бежала из темницы!

Дильбер, ничего не отвечая, подошла к открытому окну. После минутного раздумья она начала спускаться; Джевхер наверху держал приставленную к окну лестницу.

— Осторожно! Там не очень удобное место. Лестница качается. Я это испытал, когда поднимался. Осторожно спускайся, не торопись, — повторил он.

Дильбер с помощью Джевхера спустилась и, ожидая в углу, с величайшим изумлением смотрела на это событие, происшедшее среди мрака ночи. Джевхер тоже начал спускаться. Ноги его дрожали, так как лестница качалась и кровь лилась из ран на его тело.

Дойдя до четвертой ступеньки, он крикнул, что поднимаясь убедился, как опасно ступать на нее. Дильбер своими маленькими ручками хотела держать стоявший на земле конец лестницы. Но Джевхер перед препятствиями, мешавшими осуществить его великий замысел, превратился в пламень:

— Уйди оттуда! Зачем тебе подвергаться опасности... Какая польза от того, что ты будешь держать внизу, — воскликнул он.

Несколько минут Джевхер стоял наверху. Несколько минут раздумывал. Время шло. Медлить было невозможно... С тысячью затруднений он снова поднялся наверх. Одной рукой он схватился за ставни, из которых при разрушении вынул все гвозди и винты, другой за лестницу, прислоненную к углу. Она не двигалась с места. В это мгновение она казалась его глазам каким-то одушевленным существом, низким, коварным средством для спасения. Он взглянул из окна вниз и пробормотал лестнице:

— Дракон, оставь, ведь я же хочу спасти Дильбер.

Но какая польза стоять наверху? Так погибнет и он и Дильбер. Спуститься, это — значило взлететь к цели, была надежда спастись и спасти. Он снова начал спускаться. Он прошел первую и вторую ступеньку, на третьей ноги его затряслись, лестница начала слегка качаться. У него закружилась голова, и он крепко вцепился в лестницу. Затем он поставил одну ногу на четвертую ступеньку, а другую на пятую. В это мгновение верхушка лестницы отделилась от окна и она как дракон, нападающий на царя, со страшным грохотом опрокинулась.

Бедный Джевхер! Он лежал на земле, незаслуженно пострадавший. Дильбер в ужасе и смятении со страхом и печалью бросилась к нему:

— Ах, несчастный Джевхер! Я убила тебя..

Она наклонилась к нему и поцеловала его в лоб... Этот ласковый поцелуй в одно мгновение оживил несчастное, покрытое кровью тело. Джевхер открыл глаза. Дильбер рыдала над его головой.

— Ласковый мой Джевхер! Ах, зачем ты подвергал себя всему этому? Что я сделала для тебя, что ты пожертвовал ради меня жизнью?

Джевхер ответил голосом, в котором уже чувствовалось приближение вечного покоя.

— Так как я любил тебя... ничего... с тех пор, как я увидел

тебя, твои глаза нанесли моему сердцу смертельную рану... до тех пор я не жил вовсе...

Дильбер обняла его голову и несколько раз поцеловала. Наступило величавое, страшное, торжественное мгновение. Джевхеру казалось наслаждением расстаться с жизнью под этими поцелуями, в этих руках; он прижался к ней и говорил:

— Я спокойно умираю... но ты погибла... ах, беги, беги, завтра... в Стамбул есть пароход...— Затем с величайшим усилием он добавил:

— Твой билет у меня в кармане...

Поистине, Джевхер за всю свою жизнь никогда не был так счастлив. Его лицо побледнело настолько, что он стал похож на абиссинца, голова его покоилась в объятиях Дильбер, смерть приближалась, все тело охватила полная слабость. Его едва открытые глаза не отрываясь смотрели на Дильбер, и можно было подумать, что его готовая отлететь душа не взвьется к небесам, а сойдет себе гнездо в волосах девушки. Наконец, по лицу его стало видно, что последняя, страшная, грозная минута подошла.

Молчание. Три или четыре минуты длилось это глубокое молчание и было страшно и длительно как долгий век. Это молчание, окружающее последнюю разлуку покровом тайны, уничтожающее человека в бесконечном пространстве небытия и бездонных пропастях будущего, в глубину которых не может проникнуть человеческая мысль, распростерло свои крылья над Джевхером. На его лице показалась мрачная тень, словно отражение вечной ночи, жуткой как та гробовая плита, которая прикрывает жалкие останки человека.

Одна, совсем одна она не выходила и на улицу, она не могла поехать в Стамбул, в тот дом, откуда была продана. Совершить это путешествие мешала ее чарующая краса и восточные нравы. Снова возвратиться в этот дом! Все большие двери были закрыты и исключали возможность возвращения, да и кроме того... по доброй воле броситься в сладострастные объятия... одна мысль об этом повергала ее в ужас. Голова покойника уже пять или десять минут лежала у нее на руках и заставляла волосы ее подниматься дыбом от ужаса и отвращения. Девушка опустила ее на землю, взглянула на нее последним взором, полным сострадания, и медленно удалилась.

По мере того как она уходила от зеленого луга, окруженного со всех сторон большими пальмами, ее голова склонялась под гнетом терзавших ее страшных мыслей. По временам нелюбимый людьми мрачный свет луны прорывался через листву деревьев и освещал ее черные волосы, в беспорядке рассыпавшиеся по плечам.

Среди ночного мрака это полуночное видение казалось скорее греческой етатуйей, чем одушевленным существом. Свет месяца скрывал многое в ее походке и движениях, но подчеркивал ее высокий рост, стройность и задумчивость, и простому человеку эта фигура могла показаться внушающей ужас. Она медленно удалялась, и можно было подумать, что одна из богинь древности пришла из далекого прошлого и в отчаянии и смятении идет среди больших пальм к берегу Нила.

Дойдя до берега, она остановилась, словно прислушиваясь, как воды реки неустанно поют печальную, грустную песню о древних богах.

Нет! Она слушала не журчание воды, думала не о печали и ужасе ночи. Она в первый раз подняла голову и хотела услышать звук, голос, который мог бы спасти ее. Тот голос, который год тому назад сказал ей:

— Я люблю тебя.

Подобно предсмертным желаниям человека, и это было неосуществимой мечтой. Она села на берегу реки. Ее охватила дрожь.

Она сложила руки и в полном бессилии и отчаянии задумалась. В эти дни вода в Ниле вздулась и текла бурно, почти касаясь ее ног. Дильбер начала оглядываться. Казалось, она хотела поведать кому-нибудь тайну, сказать свое последнее слово.

Но кому сказать? Река безжалостна! Деревья бесчувственны! Месяц, старавшийся выглянуть из-за туч, рассеивавший свой свет,— беспечен.

И дух ее вознесся ввысь, а тело упало. В одно краткое мгновение, словно молния, холодные страшные водовороты Нила подхватили Дильбер, чистую как небо Востока, невинную как любовь, несколько раз втянули в свои пучины, а затем выбросили на поверхность.

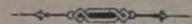
Ее тело плыло по поверхности, лежа на спине, ее длинные во-

лосы развевались, следуя течению, а луна освещала ее бескровное лицо, на котором угасли все надежды, все мечты и желания, освещала ее одухотворенные черты.

Кроме бледного, грустного света месяца в этом лице не было другой окраски. Казалось, все печали и горести были забыты, все желания и надежды отлетели.

Куда же, куда несут эти страшные, эти убийственные водовороты Нила бедную Дильбер, злосчастную рабыню?..

К свободе!



К Ю Ч Ю К Ш Е Й Л Е Р

(МЕЛОЧИ)

1891

КТО ЭТОТ ВЕЛИКИЙ ЧЕЛОВЕК

В те времена я имел привычку, покончив в большом, вмещавшем сто человек, конаке моего отца с заданными мне уроками, ходить пешком от Эксер-Таша к мечети Баязида. Во время этих обычных вечерних прогулок я постоянно встречал какого-то человека. Его небрежно запущенные волосы падали на широкий лоб, он шел колеблющейся поступью, в глубокой задумчивости, зачастую спотыкался и с трудом удерживался на ногах. Как-то раз я спросил самого себя: «Кто этот великий человек?»

Эта мысль, этот вопрос появился у меня не беспричинно. Я находил, что весь облик и манеры этого человека вполне подходили к описаниям и изложениям французской книги, озаглавленной «Жизнь великих людей», которую я в те дни читал с нашим учителем.

По большей части он спускался от Лалэли Йокуша к Ак-Сераю, устремив в небо свой взор, выслеживавший, как я думал, какое-нибудь научное открытие или созерцавший какое-нибудь литературное чудо. Его широкое одухотворенное чело казалось озаренным небесным светом. Нельзя отрицать всей важности физиономистики. Разве похожи взор ученого, устремленный на истинную сущность вещей, и взгляд поэта? Во взгляде первого, устремленном на установление сущности, замечается лишь небольшое колебание, беспокойный взор второго устремлен на несравненное небесное видение, в нем чувствуется грусть и смятение. Посмотрим же с точки зрения физиономистики, на ком из двух остановить выбор—на поэте или на ученом. Разве седая голова ученого, словно покрытая нетающими ни от каких жаров снегами горная вершина, не кажется бесстрастной, холодной и великой? Разве

голова поэта не похожа на горную вершину, всегда окруженную туманами и облаками?.. Так рассуждал я в детстве.

Полные привлекательной силы совершенства глаза этого человека были постоянно устремлены на самую возвышенную точку, и я ни разу не видел, чтобы он взглянул на лавки молочника или табачника, посмотрел на переулки Ак-Серая или склонил голову и раскланялся с кем-нибудь.

Но кто это был? Виктор Гюго? Или Жан-Жак Руссо? Вот в чем вопрос.

Постепенно я начал убеждаться в том, что это Жан-Жак Руссо. Ибо голова этого чуждавшегося людей ученого, никому не кланявшегося и ни с кем не разговаривавшего, постоянно премудро высилась за спинами чиягираклийских и гомюрджинских верблюдов, шествующих по трамвайным рельсам.

Над челом сего мужа победным огнем
Светят мудрости звезды и ночью и днем.

Быть может, в те дни он ходил за верблюдами, занимаясь каким-нибудь исследованием, относящимся к области естественной истории. И верблюд—этот неутомимый странник огненной пустыни, гробницы всего живого—по временам поворачивал с присущей ему значительностью свою длинную шею и разглядывал великого человека внимательным взором.

Как-то раз я увидел на Лалэли необычное скопление народа, услышал чьи-то крики и возгласы и вмешался в толпу.

Оказалось, что мой великий ученый с величайшим пылом и необычайной резкостью кричал на столпившихся невежд. Великий человек был в великом раздражении. Какое величие! Какое величие! Он в это мгновение приобрел странную мрачную величавость взволновавшегося океана.

— Глупцы вы, вы не люди, не понимаете человечности... Разве вы не видите, что я иду здесь? Чего вы лезете и толкаетесь? Разве вы не скверные невежды?—кричал он на окружающих.

Какой-то человек в толпе, особенно много разглагольствовавший и бранившийся, воскликнул:

— Ты-то и есть самый болван!—В это мгновение терпение и спокойствие великого человека лопнуло. Он схватил обидчика за горло, тот уцепился ему за ворот.

«Он на меня, а я на него напал, народ толпою за нами смеясь бежал; весь мир, дивясь нашей речи, от изумления палец в зубах держал».

Я вместе с толпой пошел за ними следом. Так они шли некоторое время, затем люди вмешались и освободили науку от когтей невежества.

Великий человек оправил свой разорванный ворот, одел валявшуюся в грязи феску и в таком плачевном виде скрылся в свой дом, это гнездо науки, в одном из темных переулков Ак-Серая. Это зрелище невольно наполнило меня состраданием. Когда великий человек со страхом и смущением закрыл свою дверь и скрылся, я молвил:—Величайшие произведения ученых и поэтов были написаны в порыве отчаяния и гнева...

Разве одно из произведений Виктора Гюго, разве «Эмиль» Жан-Жака Руссо были написаны не в такую минуту? Кто знает, каким великим произведением, относящимся к области науки и общественного воспитания, занят сейчас этот человек, жаловавшийся на невежество толпы. Разве из тьмы этого переулка не может взойти солнце знания? Вероятно, он был занят этими важными работами, ибо долгое время я с ним нигде не встречался. Если память не обманывает меня, через двадцать дней я увидел его. Он сидел в лавке у табачника, тот читал ему какую-то бумагу, а великий человек с величайшим напряжением и вниманием слушал. Я направился туда, но когда я подошел, великий человек вышел.

— Что ты такое читал этому великому человеку?—спросил я.

С тех пор прошло много лет, но и теперь еще ответ табачника не выходил из моей памяти:

— Это не великий человек. Он среднего роста. Он постоянно приходит ко мне и просит прочитать ему письма с родины. Он не умеет ни читать, ни писать.

Н И Ч Т О

Ему было двадцать лет. Судьба вверила его заботам и попечениям мать и сестру, и для того, чтобы обеспечить им возможность существования, ему пришлось войти в бурный поток человеческой жизни, где каждый жадно стремится раньше другого добиться своей цели, отталкивает других и на ристалище выгоды гонится за своей целью. Ему пришлось погрузиться в самые темные глубины, где человечество мечтает найти осуществление своих стремлений. Каждый вечер он возвращался домой усталым, обессиленным, но с горделивым сознанием того, что выполнил свой священный долг; это успокаивало его совесть.

Раньше времени он взвалил на свои слабые плечи тяжелую ношу обязанности кормить свою семью и начал гнуться под этой тяжестью как молодой побег, который дает так много плодов, что не в силах снести их. Жизненная сила его с каждым часом слабела, и печальный свет, отражавшийся на его лице странным и грустным образом, был явным тому доказательством. Его глаза были в задумчивости устремлены на фантастические видения, которые по временам создает воображение поэтов, уголки его рта были брезгливо опущены книзу, так как раньше времени он вкусил всю горечь жизни. В битву жизни он вступил без кольчуги и оружия, то-есть: у него было слабое тело, чувствительное сердце и полная пламенных стремлений душа. Я боялся, что со временем, вступив в эту битву за кусок хлеба, он падет раненым.

Покончив в школе с уроками, он целыми днями в грязи и презрении выполнял превосходившие его слабые силы недостойные его способностей и знаний поручения греческих купцов, вел книги в лавках и даже работал в типографиях. Далеко за полночь, когда все отдыхают на своих кроватях, он до самого утра сидел

за деревянным столом и при свече без усталости занимался переписыванием документов, работой, которую ему давали из милости и жалости. Иногда перед невыносимыми трудностями кровь начинала сочиться из его ран, но он все же силился устоять на ногах словно воин, и, хотя сила и смелость понемногу покидали его, все же его мужественная решимость и горделивое упорство не убавлялись.

В двадцать лет трудиться ради покоя своей матери, удалившейся в уединенный спокойный угол, видеть счастье сестры под сенью своих усилий,—все это придавало новую силу его сломленной решимости, давало новую жизнь его усталому телу. В эти дни его мать внезапно заболела.

Он был частью существа своей матери и потому в величайшем смятении превратился в воплощенное, на все готовое самопожертвование, бегал за врачами и ходил за больной. Иногда он ходил пешком за лекарством из Ак-Серая, где жил, в Бей-Оглу. Движимый благородством и идеализмом юности, он стремился принести своей матери новую жизнь; со стеклянками в руках он шел среди молодежи, весело и беззаботно прогуливавшейся там, и снова пешком возвращался домой.

Благосклонная судьба или счастливый случай был тому причиной, но через несколько месяцев его мать вполне поправилась. За все это время ему приходилось работать еще больше обыкновенного, и поэтому он согласился последовать совету врачей и для восстановления здоровья провести вместе с семьей весну на Босфоре.

Все то время, пока они жили на Босфоре, он каждый день ездил в Стамбул и возвращался в вечерние сумерки.

Во время своих поездок он свел знакомства с молодыми людьми, своими сверстниками. Главной прелестью их дружеских встреч, единственной возбуждавшей страстное томление темой их восторженных бесед были разговоры «о чарующей красавице». Друзья заставляли и его вкусить этого блаженства ¹⁾ и, хотя он стремился отклонить это по присущей ему восточной сдержанности и застенчивости перед женщинами, друзья однажды, воспользовавшись пустяковым случаем, представили его одной девушке. Он

¹⁾ Не знаю, нужно ли говорить, что дело шло о девушке-христианке. (Прим. авт.).

был встречен любезной улыбкой, и улыбка эта так ослепила его глаза, что он даже не смог хорошенько взглянуть девушке в лицо. Эта любезность, эта чарующая улыбка произвели на его грустную душу глубокое впечатление. С какой радостью, с каким восторгом встретило его чувствительное сердце, его мечтательный дух эту первую победу юности.

По утрам, когда он ехал в Стамбул, и на обратном пути ему каждый раз удавалось насладиться этими улыбками, этим духовным приветом, этой беседой сердец. С тех пор всюду, где он только видел ее, где встречался с ней, она отвечала на его поклон этой вызывающей страстное решение улыбкой, и вся жизнь, казалось, превратилась для него в одну сплошную улыбку.

В длинные весенние дни он работал больше обыкновенного, но теперь он возвращался по вечерам домой не обессиленным и измученным как раньше, а с величайшей радостью и восторгом. Он не шел, а бежал, разговаривая, смеялся. Когда приходили друзья, садился на стул, чтобы послушать, но не мог усидеть на месте. На его лице показались свежие краски юности, которые только ожидали маленького толчка со стороны времени, чтобы проявиться в полном блеске. Случалось ли вам видеть такую улыбку, являющуюся чудом природы, когда вам было двадцать лет?

По временам он встречал ее на пароходе, но там он не мог приблизиться к своему счастью, своей радости, озарявшей его сиянием. Станный страх и волнение мешали ему. В ответ на эту улыбку, отражавшуюся на розовых устах словно восход солнца в ясное весеннее утро среди клочков тумана, он выражал только смущение и восторг.

Быстро проезжая мимо него в коляске, встречаясь с ним среди густой толпы, в кварталах, где надо было идти более скорым шагом, повсюду она отвечала на его поклон улыбкой.

О, эта улыбка! В безнадежные ночи несчастного юноши она была другом, делившим его заботы, в темные дни была светочем, распространяющим яркие лучи. Каждый вечер он возвращался домой с новым приливом мечтаний и силы. Улыбка, полученная им в последний раз, наполняла его влюбленными фантазиями. В такие ночи он до самого утра ни разу не мог сомкнуть глаз... Он женится на этой девушке! В согласии матери он был уверен,

а относившиеся к нему так ласково и внимательно родители девушки, конечно, тоже не будут препятствовать ее сердечной склонности.

Все препятствия он преодолевал своей упорной борьбой. Он выстроит дом, гнездо любви, для своей дорогой жены в самом сокровенном уголке, на чарующих берегах Босфора или же в самом красивом месте веселых и радостных островов, под ярким, прекрасным солнцем. Он выстроит для своей жены павильоны среди тысяч различных цветов, разведет сады среди деревьев, этих мимберов для птиц. Он будет слушать смех своей возлюбленной, более прекрасной, чем все расстилающиеся перед ними чудеса природы, этот смех, возвращающий к жизни умирающее сердце. Весна поднесет его жене, когда он первый раз останется с ней вдвоем, свои лучшие цветы, заливающиеся птицы—самые громкие и самые сладостные свои напевы...

От бессонницы у него делался жар, и он ворочался в своей постели. Почему бы ему не прогуливаться «с нею» по берегам Босфора? Почему бы ему не любоваться «с нею» на отражение в лазурной воде земных огней и небесных светил? Почему бы ему не опьянеть от любовного счастья, видя как свежий северный ветер, который то тушит, то зажигает эти светила, играет «ее» волосами? Смотри! В эту бессонную ночь он будет говорить ей на ухо... нет, будет говорить прямо ее душе сокрытые, тайные мысли... О, он будет трудиться, будет много трудиться! В тени своих трудов станет богатым. Он поднимал голову с кровати, стоявшей у окна.

Краски рассвета рисовали на лазурном фоне неба несколько разноцветных колонн, каждую минуту менявших свою окраску и свое место. Опьянявшая его улыбка играла среди облаков, розовых как ее губы, украшала лежавшие напротив горы, та же улыбка опустилась с неба и удалялась по морю среди маленьких волн, заставляя изнывать в любовной тоске берег...

Некоторое время он провел в этом состоянии упоения, бессознательности, затем собрался с силами и отправился в Стамбул. Вечером он встретился на пароходе со своими молодыми приятелями. Он не открыл им ничего, страшась возбудить их зависть. Все вместе поднялись на палубу; там на скамье сидела вместе со своей матерью девушка, его улыбка. Один или два из его

друзей смело подошли к девушке и начали разговаривать с ней, остальные стали принуждать и его приблизиться.

Когда он подходил, счастье и восторг наполнили его душу страхом и смятением, он чувствовал, что силы покидают его, чарующая улыбка ослепила его глаза, и ему казалось, что он вот-вот упадет. Окружающие заметили это, начали настойчиво уговаривать его; он несколько раз вставал и снова садился. Он хотел застегнуть пиджак, оправить феску, но не мог, руки тряслись. Все эти движения не ускользнули от пронизательного взгляда женщин. Минуту спустя начался общий разговор. Девушка по временам обращалась и к нему и засыпала его множеством вопросов. Бывал ли он в Париже? Видал ли Лондон? Слышал ли оперы, бывал ли в водевиле? Нет, постоянно сидел дома! Это было видно из всего его поведения! Нескончаемые вопросы сопровождались веселым смехом. Несчастный юноша понял, что над ним потешаются, и в первый раз внимательно посмотрел в лицо девушке. Страшный удар для двадцати лет, этого возраста мечтаний... Неужели эта улыбка, лишившая его покоя, проистекала от того, что верхняя губа ее маленького, хорошенького ротика была немножко слишком коротка?..

Неужели эта улыбка предназначалась не только ему, а равномерно всему миру и всем вещам?

Если теперь, когда нам уже не двадцать лет, мы хорошенько присмотримся ко всему тому, что делало нас счастливыми, разве результатом этого раздумья не явится одно слово, которое заставляет дрожать все существа в мире?

«Ничто!»

К О Ш К И

— Ханум! В последний раз я требую ответа. Я или кошки?

— Кошки!

Приведенный разговор обозначал отчаяние мужа, ветренность жены, крушение брачного покоя, выстроенного на свежем лугу, на основании из розовых побегов, защищенного от беспокойного, вызывающего томление воздуха светлыми стеклами, украшенного тюлевыми занавесками.

— Кошки! Так. Значит плод тридцатитрехлетнего дружного сожительства, разрешение загадочного слова «брак» — этот ответ?

Эти влюбленные уста тридцать три года тому назад, за время первых месяцев брачной жизни, были верным залогом вечной любви и постоянной страсти. И теперь они жертвуют им ради кошек, ради пустой прихоти, лишенной какого бы то ни было смысла.

Такой ответ поразил его человеческое достоинство, потряс его семейное положение, и он принял твердое, непоколебимое решение повести себя так, как этого требовал данный момент. Несчастный супруг. Неприятности и беспокойство от двадцати четырех кошек, собранных женой в его доме, довели его до полного изнеможения. Они бродили по дому с гораздо более заносчивым видом, чем сам глава его, и смотрели на хозяина с презрением и насмешкой. Эти горделивые животные завладели всеми диванами, спали на мягких креслах, в холодное время собирались у огня, зажженного хозяином, чтобы погреться, кричали в коридорах и комнатах своими раздражающими слух голосами. С каждым днем они становились все наглее, размножались и не оставляли этому человеку ни единого места в доме, где бы он мог отдохнуть.

Как-то утром Джакомо встал очень рано и, желая спокойно позавтракать в своем собственном мирке, поднялся наверх в маленькую комнату. В это время он услышал, что на улице плачут какие-то дети, и высунул голову из окна. Поняв, что до его сострадательного слуха донеслись только звуки пререканий и препирательств кошек, он, досадуя на свою ошибку, снова сел на стул. Когда он сажился, его лицо, крайние точки которого—нос и подбородок—были отклонены назад, и его большие, немного выпуклые глаза приняли испытующее выражение, и он с изумлением несколько раз оглянулся по сторонам. Одна из кошек украла его хлеб, другая выпила его кофе с молоком и разбила стоявшую на другом конце стола чашку. С отчаянием и смятением он воскликнул про себя:

— «Кому жаловаться! Несомненно жена станет на сторону этих заносчивых, неверных, неблагородных животных! Вот уж, действительно, кошачья хозяйка!»

Его планы на этот раз были разбиты и уничтожены; озлобленный он уселся у окна, подперев голову рукой. Вон там, внизу,—выпившие его кофе, укравшие его хлеб, разбившие его чашку, лишившие его утреннего «кейфа» кошки, отнимающие у него в его же доме отдых и покой. Они греются на солнце, шерсть у них местами черная как черное дерево, местами белая как снег, с желтыми пятнами, но яркие блестящие глаза каждую минуту и каждую секунду меняют свой цвет и окраску и напоминают собою радугу.

Они подносят к мордочке переднюю лапку и умываются с женской кокетливостью. С чистой совестью они переваривают утренний кофе и готовятся к завтраку.

Распушенность этих прожорливых животных, которых хозяйка дома предпочитала ему, привели его в ярость. Он вышел в коридор.

Там на верхней ступеньке лестницы сидела белая кошка; ее морда, усы, голова были выпачканы в чем-то черном.

— Ах, это ты выпила мой кофе! Ты разбила мою чашку! Так.

Джакомо взял из своей комнаты палку и начал медленно на цыпочках подбираться к кошке. Представился удобный случай, ему хотелось отомстить как следует, и он выбрал самое чувствительное место для удара. Он поднял палку. Кошка зашевелилась. Она убежит! Он с силой ударил, но проворная кошка тотчас же вско-

чила на ноги и со страшным шумом скатилась вниз по лестнице. Хозяин ударился о перила и жаловался на боль, когда перед ним предстала его лучшая половина, его супруга, и сурово заметила:

— Разве можно так бить кошку? А если б ты убил ее?

Несчастный в ярости воскликнул:

— Я тебе покажу! — и пошел в свою комнату.

Жена последовала за ним и спокойно, мягко осведомилась:

— Что ты сделаешь? Что ты можешь сделать? Будь любезен, скажи, я, по крайней мере, буду знать!

На его большие глаза навернулись слезы, закрывшие разноцветную красоту дня, он смотрел сквозь слезы как сквозь стекла на свою жену, на лице которой прошедшие шестьдесят лет оставили свои следы и знаки.

— Что я могу сделать! Я обращусь к правосудию властей! Обвиню твоих кошек в покраже съестных припасов, порче имущества и завладении чужой квартирой. Посмотри, увидишь ли ты здесь тогда хоть одну из этих мерзавок и мошенниц!

Он надел пальто и шапку. Открыл дверь так, словно хотел сломать ее, и вышел из дому.

Каймакам-бей-эфенди не понимает резонных доводов. Джакомо—этот знаток музыки, итальянец, ведущий свой род от благородных потомков Россини, ищет защиты и справедливости. Этот несчастный муж взывал о справедливости, старался разъяснить истину перед его неповоротливым разумом. Он поднимал руки, словно делал гимнастические упражнения, проделывал энергичные движения, которые могли бы вызвать зависть у персидского актера, но убедился, что все это напрасно. Тогда с отчаянной резкостью он выкрикнул каймакаму островов бею-эфенди:

— Вас интересуют брови, глаза, походка, одежда каждой женщины, почему же вы отказываетесь вмешаться в мое дело и прекратить неуместную страсть моей жены к этим вредным животным?—и пошел домой.

Когда он возвратился, жена испугалась, не привел ли он в осуществление свои угрозы, и, покачивая своей трясущейся шести-десятилетней головой, кокетливо прищурив один глаз, сказала:

— Будь доволен, что я люблю кошек! Разве было бы лучше, если б я любила вместо них молодых людей...

Ее большое лицо было покрыто морщинами, щеки пожелтели, глаза от улыбки скосились. В ее тусклом взоре среди тени глубоких орбит вспыхнуло пламя, и казалось, что этим кокетливым приемом она хотела принудить мужа признать ее права.

В этот вечер она легла в постель не говоря ни слова. Слова были излишни... эта улыбка, эти любовные движения, это кокетство, эта ласка успокоили отчаяние и резкость мужа. Он улегся в кровать и решительно протянул ноги, но в это мгновение почувствовал, что его чрезвычайно больно оцарапали. Он с испугом поднял одеяло и посмотрел большими глазами. Кошка! Та самая белая кошка, которая утром выпила его кофе! Поистине, эти несчастные животные, вероятно, были сторонниками общности и имущества и жен, потому что несчастному не было места даже на его супружеском ложе. Эти кошки, не дававшие ему ни минуты покоя в его доме, в конце концов отняли у него и жену.

В полночь он принял твердое решение. Рано утром встал, сложил в сундучок все свои пожитки и спустился вниз. Одел пальто и шапку и сел на завязанный веревками сундучок. В это мгновение он и задал вопрос: «Я или кошки?» и тогда же получил отчаянный ответ: «Кошки!»

Прощай! прощай! Он вышел с тем, чтобы никогда больше не возвращаться. Грустный, задумчивый, он прошел через базар, состоявший из нескольких домишек и лавченок. В переулке несколько детей нищеты играли вместе. Они были босиком, и тело просвечивало через их лохмотья. Он посмотрел на них, хотел подать им милостыню и с этим благородным намерением перерыл все карманы, но ничего не нашел и пошел дальше. Немного далее в темном углу кабачка находилась latrina, озаренная светом этого светильника, зажженного блестящей фантазией восточных поэтов. Она приводила в смятение все население острова.

Неподалеку от кабачка и латрины было много народу, и кто-то пел песню, сопровождающую танцы,—песню, которую поют невесты, обращаясь со страстным призывом к своим милым:

„Джорджи, Джорджи, Джорджаки му!
На се харо, пулаки му“¹⁾.

Они как-будто насмехались над его положением, его отчаянием и грустью. Джакомо пошел дальше, внимательно всматриваясь во все стороны, устремляя взор на дивные красоты природы и с беспокойством выискивая убежище, где бы можно было провести эту ночь. Была чудная погода, ветра не было. Мраморное море было лазоревым.

Он не вернется более, это решено! Он порвал тридцатитрех-летние брачные узы и остался один. Разве это одиночество не печально? Совсем один перед этим безбрежным морем, бесконечными горизонтами.

Даже небо с состраданием и сочувствием смотрело на него своими лазоревыми глазами. Он шел по дороге, спускавшейся вниз, окаймленной пиниями, во всякое время года сохраняющими свою свежую зелень. С другой стороны лежало море, чуть-чуть взволнованное, словно голубой атлас с небольшими складками. Он шел погружившись в глубокие размышления, направляясь к морю, но, увидев кошку, изловчившуюся, чтобы поймать рыбу, изменил путь и начал подниматься вверх. Он устал. Солнце, эта возлюбленная Востока, распустило по беспокойной поверхности моря свои светлые волосы, провело светлые дороги, золотые следы, приводило в любовное волнение видневшиеся вдали горизонты. Долгое время он провел в восторженном состоянии, вызываемом красотой моря, затем разбивающая фантазии рука действительности потрясла его и пробудила из бессознательного состояния. Время шло, близился вечер. Он твердо решил не возвращаться домой. Но откуда достать ужин? Куда пойти вечером? Где провести ночь? Жизнь не мирилась с его решением. Ведь и утром он не получил настоящего завтрака. Ему начал мерещиться пар от завтрака, который сегодня принесла и поставила на стол жена. Он сидел на берегу моря, любуясь видом. Волны тихонько плескались у берега и, казалось, говорили: «Ступай, ступай, к жене ступай!» А кошки!.. Да кроме того, разве жена не сказала ему: «Будь доволен, что я люблю

¹⁾ По-новогречески:

„Жоржик, Жоржик, Жоржик мой!

Я хотела бы насладиться тобой, моя птичка!“

кошек. Разве было бы лучше, если б я вместо них любила мужчин...»

Его одиночество, его покинутость еще увеличилась от доносившихся до него издали петушинных криков, говоривших: «Ступай, ступай, к жене ступай!» Зазвонили колокола в церквах, возвещая вечернюю службу. Звон далеко разлетался среди этого спокойствия и тишины, и все они в один голос, одним напевом повторяли: «Ступай, ступай, к жене ступай!»

Он встал и пошел обратно.

Он, вероятно, отказался от принятого решения. То появляясь, то скрываясь среди пиний, он быстро шел по направлению к дому. С задумчивым лицом, в расстроенном состоянии он вошел в дом и, ничего не говоря своей подруге, поднялся к себе в комнату. Опустился на диван и заплакал навзрыд. Жена мягко и осторожно открыла дверь:

— Не плачь так громко. Что ты, хочешь напугать моих кошек, что ли?

С В А Д Ъ Б А

I

— Ну, наконец-то, слава богу... сегодня свадьба!.. Долго это длилось, братец... год, целый год он сватался. Наш Бехджет-бей терпелив.

— А как зовут невесту?

— Ситарэ-ханум.

— Красива?

— Что в ней красивого, я не знаю. Цвет лица? Скверный. Брови? Жидкие. Талия? Как метла.

— Если так, чего же он так старался?

(Делая движение пальцами, словно считая деньги): — Вот что есть, вот что! Нынче кто красоту ищет.

(Подойдя к дверям и осторожно прислушавшись):

— А как та?

(Понизив голос):

— Плохо... очень плохо... (меняя тон): все заняты свадьбой! Спроси, что тебе нужно. Разве тебе есть дело до чужого горя.

— Не-ет. Жалею я тех, кто болеет из-за мужчины или дает деньги, чтобы найти мужа, только и всего.

Этот разговор происходил между двумя лакеями. Их длинные шеи были повязаны белыми галстуками, к головным уборам были приколоты букетики мирт, на них были длинные синие сюртуки и полотняные рубашки. Они стояли в коридоре, чтобы принимать прибывавших на свадьбу гостей.

Этот большой старый дом, стоявший позади площади султана Ахмеда, в то утро раскрыл свои окна, чтобы впустить весеннее солнце, и двери—для приема любви. Казалось, что много лет он был необитаем и теперь впервые был заселен. Наружная сторона

его была выкрашена в красную краску, внутри все комнаты и стены были выбелены. Он походил на нарумянившуюся старуху, которая все же не могла скрыть под румянами трещины—морщины, выбоины в стенах—впадины; к тому же под разрушительными ударами пролетевших над ним лет он начал клониться на бок. По его коридорам должны были волочиться подола молодых девушек, в его стенах, не слышавших ничего, кроме свиста зимнего ветра, должен был звенеть смех молодых людей; в уголке, выходящем в сад, в эту ночь должна была находиться уединенная комната для свидания молодых, и дом со старческой веселостью и горделивостью распростер на площади свои руки и стоял, словно ожидая прибытия молодых. Долгое время его комнаты были вверены победоносному нашествию грустной пыли, были покинуты и заброшены; теперь ласковые, красивые руки раскрыли их двери навстречу счастью и любви... Красивые лица—это великое чудо природы—склонятся к разброшенным повсюду подушкам... Поблекшая мебель будет закрыта яркими атласными платьями.

Высокий дом снисходительно нагнулся со своего возвышенного места к окружающим его более низким домам и, казалось, желал дать возможность послушать чарующую музыку, изящные звуки которой будут разноситься вокруг. Даже страж квартала, курд Хасо, обыкновенно стучавший в двери, словно желая сломать их, и спускавшийся с лестницы, словно хотел разрушить ее, накрутил себе на голову тюрбан из красного кемени¹⁾, на ноги одел новые панталоны из грубого сукна, облекся в такую же новую куртку и с величайшим уважением и почтением сидел в переулке у дверей дома на маленьком соломенном стуле. Против обыкновения, он смотрел на всех проходящих с улыбкой и выжидал прибытия коляски с невестой.

Немного спустя зрители приступили к атаке дверей, как будто бы желали завоевать весь дом. Бедный страж в своем красном кемени вскочил в волнении и восторге на ноги, устремился вместе с несколькими откуда-то подоспевшими уличными собаками к гарему и зычным голосом, составлявшим гордость и славу всего квартала, возвестил о прибытии. В доме поднялась суматоха, и все бросились к дверям. По всему кварталу протя-

¹⁾ Род тонкой материи.

нулся ряд колясок и остановился у подъезда. Минут через пять жених и невеста прошли по лестнице и коридорам, от дверей до самого брачного покоя наполненным в несколько рядов стоявшими зрителями в самых разнообразных одеждах. Они приветствовали молодых, прославляя их сан и любовь криками: «Машалла... и еще сорок раз машалла!» Когда невеста вместе с провожатыми поднималась по лестнице, молодой, красивый жених вызвал одобрения и восторженные взгляды всех женщин своим стройным станом, широкими плечами и в особенности немного слишком густыми для его двадцати пяти лет черными усами, концы которых были подвиты щипцами кверху. Можно было подумать, что он погружен в соображения относительно выгоды, извлеченной от этого брака, потому что он поднимался по лестнице колеблющимся шагом, устремив перед собой взор. Лишь по временам он поднимал голову и с презрением смотрел на окружающих его покрытых вуалями женщин. Его взгляд выражал сокрытые злобные мысли его сердца, питавшего по отношению ко всем женщинам презрение, смешанное с ненавистью. В это мгновение он казался не столько счастливым и довольным, сколько резким и придиричивым. Верьте мне, что у таких людей всякое чувство, даже любовь, смешано с ненавистью и враждой.

Он вел под руку невесту, очень высокую и слишком тощую ханум, с приподнятыми кверху плечами. На ней было одето красивое платье, которое можно было считать драгоценной турецкой работой, но которое в то же время представляло собой и соединение с европейской модой. Оно было сделано из фиолетового атласа, с очень длинным шлейфом; начиная от корсажа и до самого подола его украшали полосы золотого шитья, напоминавшего отблеск утренней зари, с востока озаряющий запад.

Она опиралась на своего мужа, это воплощение красоты и молодости, с чувством гордости и счастья, вызванным подвенечным платьем, этой важнейшей из всех составных частей брака для молодых девушек, и одобрением всех окружающих. Она улыбалась своими блестящими черными глазами, сидевшими немного слишком глубоко и немного слишком близко друг к другу, опьяневшими от радости и восторга. Каждую секунду она оборачивалась во все стороны, и ее взгляд показывал, что ее душа преисполнена самых разнообразных чувств. Хотя одетая на ней вуаль из красного

тюля коварным образом подчеркивала темный цвет ее лица, но, когда она смеялась, все ее лицо и в особенности ее хорошенький ротик, показывавший блестящие зубы, приобретал нежное, изящное и одухотворенное выражение.

Немного поодаль от самой давки, на диванчике, в углу, стояли две пожилые женщины, от избытка веселья пришедшие в полное смятение; они, открыв рот, смотрели на колтук ¹⁾. Их короткие волосы были собраны под небольшими шапочками, приколотыми алмазными булавками, в ушах висели продолговатые брильянтовые серьги. Они улыбались во все лицо и сияли от радости. Эти две женщины так выделялись весельем и довольством среди всей толпы, что привлекали на себя всеобщее внимание.

Это были матери невесты и жениха. Одна смотрела со свойственной матерям гордостью, как бы говоря: «мой сын—мужчина», другая—с материнской нежностью и состраданием следила за своей дочерью.

Одна наблюдала как он вступил в общество, другая смотрела как ее драгоценная дочь счастливо и смиренно следует за своим мужем, своим водителем на жизненном пути, вступая первый раз в истинный мир. Обе, подав друг другу руки, казалось, видели возвращение прожитой ими жизни, видели, как будущее подымается из далекого прошлого, и были исполнены неопределенных чувств.

Бехджет-бей усадил невесту на приготовленное для нее место и, выставив ее напоказ испытующим и неодобрительным взорам состоявшей из самых разнообразных элементов толпы, с тысячью затруднений протискался через давку и вышел в селамлик ²⁾.

Ситарэ-ханум, покинутая до самого вечера и предоставленная внимательным и придирчивым взорам зрителей, находилась в нервном возбуждении, свойственном женщинам, которые не совсем уверены в своей красоте и сознают недостатки своего лица. Улыбка на ее лице померкла, краски поблекли, и возбуждение придавало ей какое-то плаксивое выражение. Вместе с боем висевших напротив нее часов, тикавших так же беспокойно, как ее сердце, ее волнение усиливалось и возрастало.

¹⁾ Буквально—„руки“. Так называется церемониал, во время которого жених ведет невесту в брачный покой. (Прим. перев.).

²⁾ Мужская половина дома. (Прим. перев.).

В устремленных на нее взорах, рассматривавших ее с головы до пят, выскидывавших самые мелкие морщинки на ее лице и самые сокрытые его недостатки, она чувствовала придирчивость, поиски недостатков и зависть.

— Что, красива невеста?

— Как на чей вкус! Разве вы не видите, какое у нее темное лицо, какие редкие брови? Вот глаза ее мне нравятся.

— Ее глаза чрезвычайно похожи на ваши!

С другой стороны:

— Невеста некрасива, но платье у нее умопомрачительное. Как красиво это золотое шитье на фиолетовом атласе.

— Нельзя представить себе более красивого подвенечного платья. Но только... как она затянулась, она верно думала: «пусть моя талия кажется стройной». Нет, вы посмотрите только! Ведь она свободно вздохнуть не может.

— Сестрица, если б ты захотела поискать такую талию, как у тебя самой, ты бы нигде не нашла ничего подобного!

В другом углу:

— Желаю тебе того же ¹⁾... Почему невеста сидит словно плачет? Можно подумать... ведь она должна была бы веселиться. По моему мнению, жених красивее ее.

— Почему? По-моему и несчастная невеста тоже красива... Говорят, у жениха есть наложница. Правда это?

— До меня тоже доходил такой слух. Что, он прогнал ее? Продав? Говорили что-то в этом роде, а только я ничего не знаю.

— Я слыхала, что она заболела, слегла в постель, так говорили. Говорили, что все они были в большом смятении, как бы об этом не проведала невеста.

В каждом углу со всех сторон беседы, разговоры, шутки, порицания становились все оживленнее. Голоса смешивались, возвышались, с одной стороны слышались шаги людей, поспешно ходивших взад и вперед по коридорам и комнатам, с другой доносились звуки игравшего оркестра, все это соединялось вместе, и во всем доме царила кипучая жизнь.

¹⁾ „Дары-сы башына“. (Буквально—то же, что и ему, на твою голову). Пожелание, с которым обращаются к холостым во время свадьбы. (Прим. перев.).

Мы живем в эпоху переворота в наших привычках. Поэтому с утра распространился слух, что гостей против обычая задержат до вечера.

Выяснилось, что это действительно так, и к вечеру во всем доме повсюду начали зажигать свечи, люстры и лампы.

Яркий, завистливый, придирчивый свет солнца выискивает в юных лицах самые сокрытые морщинки, самые незаметные пятнышки, самые мельчайшие недостатки, заставляет меркнуть самые блестящие краски. Теперь он угас, и слабый свет люстр в смущении дрожал на красивых лицах, влюбленно играл на черных волосах, переливался на ярких атласных платьях восточных людей, в выборе красок склонных к самым ярким цветам, забывая о хорошем вкусе. Празднество сразу приобрело новую красоту и свежесть.

Близилась полночь; избранные певцы и музыканты придавали мелодиям искусственную страстность, веселье становилось безумным, празднество приобрело более непринужденный характер. В это время девушка в энтари из красной тафты с распущенными волосами, повязанными красной лентой, спустилась по лестнице в первый этаж и прошла в один из пустых углов дома. Она шла одна, по временам останавливалась и со страхом и смятением как газель, преследуемая львом, оборачивалась назад. Волоса развевались у нее за спиной. Она вошла в коридор, в конце которого находилась комната. Стараясь побороть свой трепет, положив руку на сердце, она прислушивалась. Издали доносился шум свадебного торжества.

Она прислонилась к стене и, стоя в лучах месяца, украдкой проникавших через небольшое окно у самого потолка словно для того, чтобы полюбоваться на красивую девушку, нервно куталась. Немного спустя она пошла по этому узенькому коридору, какие и посейчас встречаются в старых домах, потихоньку постучала в дверь находившейся в конце коридора комнаты. Ответа не было. Она постучала смелее. Снова полное молчание. Она немного подождала и постучала еще сильнее. Тогда изнутри послышался дрожащий голос: — Кто это?

— Это снова я, ханум! Вы откроете дверь?

Старая женщина с четками в руках и покрывалом на голове встала со своего молитвенного коврика и потихоньку открывала

дверь. Открывшаяся комната представляла собой позабытый угол, была брошена богатством на произвол судьбы. Маленькие окна выходили на одичавший сад. Около окон стоял старый, длинный диван, попорченный сыростью. Штукатурка на стенах от действия сырости покрылась большими черными пятнами.

По правую руку стояла кровать. Там на подушках среди разбросанных в беспорядке белокурых волос виднелось бледное, безжизненное лицо молодой девушки. Видно было, что еще несколько секунд, и жизнь покинет ее, и это придавало ее лицу странное выражение.

Ее синие глаза, словно устремленные в другой мир, были прикрыты верхними веками, видны были только белки. Как две парные звезды, закатившиеся на далеком горизонте, они погасли среди грусти и томления. Ее рот был приоткрыт и показывал блестящие зубы такого же цвета, как и щеки, на висках и на шее из-под тонкой кожи просвечивали синие жилки. Приблизившаяся смерть уничтожила всякую пропорциональность ее лица и вызвала в нем странные контрасты. Жизнь уходила, и это показывал землистый цвет ее лица. Дневной жар сменился ночной свежестью, в комнате начала чувствоваться сырость, смешивавшаяся с тяжелым запахом. Ибо ее тело уже начало разлагаться.

II

Лежавшая на смертном одре восемнадцатилетняя девушка три или четыре года тому назад была златовласым, белотелым, синеглазым, свежим как весна и веселым как птичка ребенком. Она выросла в гареме, закрывшем двери перед событиями мира и окруженном огромными стенами, чтобы воспрепятствовать проникновению туда веяний эпохи. Поэтому жизненной правды она совершенно не знала. Она любила цветы, гонялась за бабочками, по утрам открывала окна своей выходившей в сад комнаты и напевала народные песенки. Она спускалась по лестницам через две ступеньки за раз, она с малых лет росла в этом доме и поэтому находилась на границе детства и юности, словно ласточка под дующим сразу с двух сторон ветром следовала всем своим невинным прихотям и с легкомыслием и поспешностью заходила, залезала, забегала и поднималась во все комнаты старого дома и все

уголки сада. Она повиновалась приказам жизненной силы и задора, свойственного здоровым детям этого возраста. На ее розовых губах постоянно светилась улыбка, иногда передававшая свой розовый свет и ее голубым глазам и из-за малейшего пустяка переходившая в продолжительный смех.

Но на ряду с этим у нее были и большие недостатки. Для своего возраста она была очень красива, для своего положения очень изящна, но она совершенно не знала, что такое человеческая жизнь, не знала, что то изумительное счастье, которое было даровано ей сегодня, эта царственная милость, — что все это лишь непрочная забава, неустойчивая прихоть, и поэтому завтра может превратиться в резкость и жестокое презрение. Она очень любила цветы, очень много бегала за бабочками, но эта опасная улыбка не переставала целовать ее губы.

Как-то раз она встала рано утром и бегала в саду. Вдруг две сильные руки схватили ее за плечи, и кто-то поцеловал ее. Она старалась вырваться из этой западни, в которую так неожиданно попала, в страхе и смятении обернулась... Бехджет-бей! Еще более резким, более сильным, чем эти руки, голосом он сказал ей не допускавшим возражения тоном: — Успокойся! Я люблю тебя!

В это время ветер бросил одну из ее золотых кос ей на ухо: он хотел, чтобы девушка не слыхала этих опасных, этих убийственных слов. Но только природа, презрительно попирающая все препятствия, чтобы достигнуть своей цели, была на его стороне. Резкость и сила молодого бей подчинили красавицу велениям природы. Искала ли она любви? Нет! Этот голос, заключавший в себе презрительную силу и резкое веление, и посейчас казался ей прекраснее и нежнее красивых голосов и пения птиц. Он обещал ей восполнить огромный пробел, чувствовавшийся ею, дать ей сострадание и защиту, в которых она нуждалась. Будет ли он для нее милостивым защитником, братом, или красивым беем, — этого никак не могло решить ее сердце. Прошло два или три дня. Дильситан уже не была молоденькой девушкой, неопытным ребенком, безродной служанкой... Она стала наложницей Бехджет-бей. В это мгновение ее юный ум, духовной пищей которого были девичьи мечты, чувствовал под ее маленькими ножками счастье, спокойное будущее и пламенную страсть.

Если бы Дильситан хоть немного знала человеческие повадки

и реальную жизнь, она поняла бы, что этот грабитель, внезапно появившийся на ее жизненном пути, не любовь, несущая с собой нежные и возвышенные чувства, а грубая и презрительная страсть.

Да, он был суров и резок с ней. Когда он шел по коридору в верхнем этаже этого старого, огромного дома, то, как постоянно бывает в больших деревянных домах, дрожали все соседние комнаты, тряслись стоявшие в комнатах канале. Зачастую, когда случалась какая-нибудь пустяковая неприятность или когда вне дома ему не удавалось осуществить своих надежд и желаний, для достижения которых он готов был умолять в величайшем унижении, он приходил в ярость, швырял во все стороны стулья и ломал их.

Когда этой любви было всего-на-всего две недели, Дильситан почувствовала, что она раздавлена этим новым положением и что нити, вызывавшие в ее сердце девичье самоослепление, уверенность в своей красоте и чувстве собственного достоинства, порваны. Бехджет-бей звал Дильситан, а если она не могла услышать его, орал: — Я тебя зову! Что ты оглохла, что ли? Дура! — Иногда, возвращаясь поздно ночью, он находил Дильситан у дверей своей комнаты заснувшей от усталости и будил ее ударом ноги. Один раз он хотел показать ей, что она не вычистила его платье, и потащил ее туда за ухо. Для того, чтобы узнать в шутку или серьезно он делает это, Дильситан глядела ему в глаза. В такие минуты зрачки этих убийственных глаз казались ей еще больше и еще чернее. В такие мгновения эти большие черные глаза, которые были глубже пропасти и грустнее смерти, потрясали все существо Дильситан до самого основания.

О, женщины! Неразрешимая загадка. Иногда они предпочитают дикость и грубость слабым ласкам и бессильной нежности.

Как человек, падающий в пропасть, хватается за все, так Дильситан, у которой во всем мире не было ни одного защитника, никакого покрова, увидев, что Бехджет-бей поправил ее женское и человеческое достоинство, привязалась к нему и полюбила его.

Она полюбила. Девичьи мечты не покидают юный разум даже перед самой горькой истиной; она подчинялась их велениям: хотя Бехджет-бей становился резким и жестоким, — быть может, все же это была любовь...

Ревность!.. Это бедствие любви, волнующее даже самые спокойные натуры! Быть может, она была причиной полного подчинения и унижения ее. Посмотри, разве свирепый лев, с величайшей любовью стоящий подле своей самки, не красивый, не величавый хищник.

Именно так... ибо этот негодяй обращался с Дильситан как с самкой, не как с женой.

Эту резкость и суровость она в течение шести месяцев переносила с влюбленной покорностью, терпением и готовностью. Внезапно она заметила в поведении Бехджет-бея, в домашней жизни, во всех делах какую-то перемену, какие-то происшествия. В доме во многих местах меняли циновки, штукатурили стены, домашние беспрестанно говорили о том, что Бехджет-бей решил отпраздновать свадьбу. Дильситан в эти ночи не смыкала глаз до самого утра.

Смотри, разве ее сердце было неправо в своих влюбленных суждениях? Разве не было ясно, что Бехджет-бей делали столь суровым, столь резким сила и мужество вызванной ею страсти? До сих пор она была наложницей. Теперь будет законной женой!.. Любовь, начавшаяся с презрения и унижения, теперь поднимет ее на высочайший трон.

Эта свадьба! Любовь и страсть... Это маленькое опечаленное, полное страсти сердце представляло себе эту победу, этот успех блестящих праздников.

В нежных объятиях этих сладостных мечтаний Дильситан несколько ночей провела без сна и покоя. Как-то утром она зашла в комнату, где собрались ее подруги. Они сидели там большим кругом и шили все необходимое для предстоящей свадьбы. При этом все сразу болтали, не придерживаясь какого-нибудь порядка в разговоре. От времени до времени они с шутками передавали друг другу катушки.

— Помилуй, сестрица. Ну и ленива же ты! Ты все еще не могла обшить и одного края чаршафа ¹⁾.

— Мир отцу моему, вот что я сделала!

— Девушка, покажи-ка мне твое платье, я погляжу... Ну ко-

¹⁾ Широкий плащ, который женщины одевают выходя на улицу.

нечно!.. Ты все сшила неправильно. Распорешь сейчас же все и начнешь сначала, тогда научишься открывать глаза при работе.

— Машалла! Ну и работаешь же ты! В два дня сшила такой кусок!

— Если я не поработаю для свадьбы моего бея, когда же мне и работать. Было бы в два раза больше, я бы и то все сшила.

Обращаясь к девушке, ожидавшей в углу комнаты, державшейся за правую руку и горько рыдавшей:

— А ты чего плачешь, девушка? Если побили, не велика беда. Разве он не твой эфенди? Он бьет тебя для науки.

— Да, эфенди,—с плачем ответила та:—разве колят человека иглой в руку за то, что ты, мол, неверно вышила подушку. Поглядите-ка! Как вспухла рука... Если б иголка вошла чуточку дальше, у меня сделалось бы воспаление. Вот теперь я и смываю кровь на своей маленькой ручке слезами.

— Дильситан! А ты почему же не готовишься к свадьбе? Ведь до свадьбы осталось всего-на-всего неделя. Потом поздно будет готовиться!

Дильситан застенчиво:

— Мне пока еще никто ничего не говорил про свадьбу. Всего несколько дней, что я от вас услышала об этом.

Она в это время находилась посреди комнаты. Девушки все сразу начали смеяться. В углу сидела, наклонившись над шитьем, до сих пор ни слова не говорившая рабыня. Ее широкие выдающиеся скулы, низкий лоб и маленькие раскосые глаза указывали на ее татарское происхождение. Она подняла голову и посмотрела на Дильситан мстительным, жестким взглядом.

— Дильситан калфа! ¹⁾ Ты видела нашу будущую ханум? Я видала ее вместе с ханум на свадьбе у соседей. Как она красива, как красива... Бехджет-бей видел ее под вуалью и то сразу чуть чувств не лишился.

— И богата очень, очень богата. Как звали то ее, голубки ²⁾.

¹⁾ Так в Турции называют служанок. Испорченное халифа—наместник—халиф.

²⁾ Буквально — „барашки“—куzum, обычное в Турции обращение среди простонародья.

— Ситри ханум.

При этих словах все девушки бросили свое шитье и громко расхохотались.

— Девушка, да разве бывает такое имя? Что ты болтаешь... Ситарай ханум!

— Помогите! Скорей помогите! С Дильситан что-то случилось!

Да, с Дильситан что-то случилось. Это слово, это имя, произнесенное среди смеха и шуток, как кинжал вонзилось в самое нежное место ее чувствительного сердца, и она как сноп повалилась на землю. Ее сердце не билось, пульс не чувствовался.

В комнате до того царил шум, все попеременно перебрасывались разумными и бессмысленными словами, смеялись, шутили, забавлялись. Теперь все сразу стихло и даже плакавшая в углу молоденькая девушка с проколотой рукой замолчала. Веселье, на которое ничто не производит впечатления, которое ни о чем не заботится, молча смотрело на бледное, страшное лицо реальной жизни, раненной в сердце девушки, лежавшей навзничь на циновке. Все призадумались. Таково было положение в первое мгновение, когда Дильситан лишилась чувств. Затем в величайшем смятении они заботливо уложили ее на кровать. Подоспевший врач спокойно заметил:—Ничего нет. Нервный припадок... histerisme...

Все ночи, в особенности же несколько последних ночей перед этим случаем, ее кровать посещали самые чарующие девические грезы. Теперь уже три дня она лежала там в плену терзаний и мучений, а Бехджет-бей за все это время ни разу, ни единого разу не навестил ее. Через три или четыре дня она, наконец, встала и бродила по дому, бледная как призрак. Одной из подруг своих она сказала слабым голосом:—Теперь я совсем поправилась. У меня ничего нет. Я приготовлю сама все, что надо для свадьбы. Я встречу в день свадьбы невесту.

Три или четыре дня сильный нервный припадок потрясал до самого основания все ее нежное существо. Теперь она встала, и ей казалось, что она очнулась после сна. Все надежды, желания, мечты, горести, Бехджет-бей, все это были фантазии, лишённые плоти... С этих пор она будет вести себя сообразно своему положению. Она твердо решила не думать ни о чем, кроме выполнения своих обязанностей, своей работы.

О истеричность, истеричность! Враг всякого твердого решения,

обманщица разума, изобретательница фантазий, она внушает страхи, она меняет все состояния, она разрушает силы, она подтачивает несчастную Дильситан. Зачастую страшная мысль, сильное желание, беспричинный страх, резкое слово, холодный ветер вызывал у нее обморок. Но, несмотря на это, она с изумительным мужеством и поспешностью старалась привести в осуществление свои слова: «Я сама приготовлю все, что надо для свадьбы».

На ее лице светились яркие краски, на губах мелькала проницательная улыбка, она шила чужую работу, бегала по всему дому, чтобы услужить кому-нибудь. Когда она кроила платье, материя от ее торопливости рвалась; услышав, что сверху кто-нибудь требовал кофе, она бросала всю работу, стремительно взбегала по лестнице, роняла чашку и разбивала ее. После этого, усевшись где-нибудь в углу отдохнуть, она четыре или пять минут безудержно смеялась.

Ей хотелось непременно, непременно быть на свадьбе и прислуживать. Встав рано утром, она одела длинное розовое платье, надеясь, что это немного смягчит и скроет бледность ее лица, выдававшую ее скорбь и волнение. Волосы она распустила, и это придавало ей вызывающую сострадание прелесть. Затем она стала поджидать женщин нижнего этажа, чтобы отправиться на празднество. Ее не хотели брать с собой, но она, пользуясь своей чарующей красотой, упорно просила, добилась осуществления своего мучительного желания и оказалась на празднестве. Хотя никто не принуждал ее, хотя это совершенно не входило в ее обязанности, тем не менее она хотела приготовить все необходимое, сделать все, что было нужно.

Когда брачный контракт был заключен и гостям были предложены прохладительные напитки, она спряталась за большой трельяж и уселась там, чтобы послушать приглашенных на торжество музыкантов. В этот день она все воспринимала с невероятной силой, с чрезмерной чувствительностью. Она находилась в непрерывном возбуждении, внимая ухом души мелодиям музыкантов, от которых струны ее сердца дрожали сильнее струн музыкальных инструментов. Чарующий голос одной из певиц в этот день очевидно вызвал в ней скрытую страстную грусть; ее голос как фонтан взлетал вверх в чистых, высоких звуках, потом как

водопад с грустью и нежностью вливался в сердце Дильситан. В это мгновение певица с сопровождением инструментов запела эту прекрасную безжалостную песню:

„Ах, никто на твой страстный призыв не спешит,
Это сердце в огне расставанья сгорит“.

Дильситан навзрыд расплакалась в своем убежище. Эти слезы расстраивали веселье и беззаботность торжества, и Дильситан поспешно свели вниз и отвезли в коляске домой. Приехав домой, она через несколько дней снова начала вести свой беззаботный образ жизни. Иногда она безо всякой причины веселилась и смеялась. Но только после этого веселья она жаловалась на тяжесть в голове, а если смеялась немножко слишком много, на боль в груди.

Шли дни, недели, месяцы. Бехджет-бей старательно избегал видиться с ней. Как-то раз она случайно встретила с ним и прошла мимо подняв голову, не глядя на него, словно тень или жестокое видение. Другой раз она увидела в большом коридоре Бехджет-бей, одетого в черный сюртук и черные брюки, и спросила кого-то:—Кто этот черный человек?

Лето подошло к концу. Это время жизни умирало в чаще лесов; появился с глубокими стопами холодный, резкий, пронзительный осенний ветер, последнее дыхание лета. Он принес с севера холод, смешавшийся с сыростью, поднимавшейся от Черного моря, сорвал листву с деревьев, по ночам заставлял дрожать на бледном небе свет месяца и луны, принудил улететь в теплые страны птиц, весело порхавших в долгие летние дни. В это время Дильситан начала ощущать страшную слабость и сильно кашлять.

До появления и развития этой ужасной, свойственной молодежи и в особенности народу Дильситан, болезни все было приготовлено. Кашель в короткое время чрезвычайно усилился. По вечерам температура поднималась, и жар в одну ночь заметно обессиливал больную. Каждое утро она вставала все бледнее, все слабее. Ее белые зубы показались из-под ее верхней губы и вызвали на ее лице постоянную улыбку. Ее золотистые волосы обрамляли это матовое белое улыбающееся лицо как листва плакучей ивы на берегу озаренного месяцем пруда. На ее глазах часто появлялись слезы, небесно-голубой взор делался задумчивым. Она стала

походить на последние осенние дни, которые довели ее до такого состояния.

Когда наступили первые дни зимы, которая в том году была очень суровой и продолжительной, Бехджет-бей, чтобы пресечь сплетни и покрыть расходы по свадебному празднеству, решил продать Дильситан. Но было уже слишком поздно. Для того, чтобы продать ее, было необходимо полное здоровье, а у Дильситан не хватало одного легкого. Отчаянный постоянный кашель по ночам доходил до крайнего предела и тревожил всех, а в особенности Бехджет-бей. Поэтому Дильситан перевели в старую, пустую комнату в конце дома, заброшенную вследствие сырости. Сырость эта оказала большое действие на ускорение развития болезни.

Когда Джевр-и Фелек калфа вошла в эту комнату и полными слез глазами взглянула на Дильситан, напрасно силившуюся в муках и страданиях в последний раз вздохнуть, сверху донеслись веселые, оживленные звуки свадебного празднества, продолжавшегося с прежней радостью и беззаботностью.

ЭПИТАФИЯ

Под этим камнем лежит Вуслет, существо нежнее легкого, чувствительнее сердца, возвышеннее духа, свежее весеннего утра.

Если эта гибель наполнит мучительными мыслями о будущем всех живущих, это понятно.

Этот прах—место, где успокоилось трепещущее сердце Вуслет, где превратился в пыль свет зрения красавицы, божественная красота ее. Под этой горестью праха лежит царица; свидится ли она когда-нибудь с людьми пред лицом божества?

О, вселенная! Двадцати лет эта чарующая девушка стала жертвой чахотки. Освободи ее из-под этого камня, из этого праха, если ты хочешь, чтобы к бесчисленному множеству звезд твоих прибавилась еще одна Венера! Спустись к этой гробнице вместе с вечностью твоею, вместе с бесконечностью, с солнцами и лунами! Сообщи Вуслет, что Сезаи рыдает на ее гробнице, что ты застала его там, что он не может оторваться от этого гранитного камня жизни, от этого предела всех упований!

Скажут пусть ангелы божии ей:

Ждет Сезаи на могиле твоей,

Ждет на могиле как сирота мать,

Ждет как звезда средь могильных камней,

Ждет словно солнце на западе он,

Ждет воскресенья торжественных дней.

О, бранный путник, с величайшим почтением и страхом посети сию могилу, ибо здесь погребен целый мир непорочности, целая вселенная красоты!

Это—одна из рабынь покойного Сами-паши, благородная черкешенка, воспитанная среди почестей и любви, как подобало ее благородной природе и ее великой непорочности.

Я сяду, к твоим припаду я к ногам,

Я встану, тебе свою душу отдам.

ПАНТОМИМА

Трехэтажный, стоявший в глухом переулке дом как могила был окружен вечным молчанием. Он был забыт и заброшен... С чердака срывалась доска, с крыши падала черепица, со стены скатывался камень, и годами оставались они лежать на том же месте. Иногда старая, уродливая гречанка со свойственной ведьмам мрачной молчаливостью выходила из дому, закупала и добывала все, что было нужно для домашнего хозяйства, потом возвращалась назад и снова исчезала. В маленьком садике, около стены, стояло большое дерево. Когда пламенное июльское солнце сжигало и палило всю эту часть Стамбула, начинал дуть свежий ветерок, скрывавшийся в листве этого дерева, и оно как большой зеленый веер освежало и очищало воздух вокруг этого дома. В дом никто не приходил, в нем никогда не было слышно голосов, редко были видны люди... Во всем уединенном переулке единственным проявлением жизни было это дерево... Когда приходила весна, оно одевало убор из цветов, украшало себя весенней листвою.

Среди ветвей и листьев этого дерева вили себе гнезда пернатые: они влюблялись в небесах, начинали в воздухе, рождали среди листвы. Они порхали в лучах солнца. Все сразу улетали, опускались среди далеких полей, затем опять возвращались в свое земное царство. Эти отлучки и возвращения, эти любовные игры, это перепархивание и взлеты придавали дереву видимость постоянного беспокойного движения.

Как-то раз летом, в пятницу, в полдень, из дома вышел человек с мешком под мышкой. Он старательно запер за собой дверь и пошел по дороге. Плечи и спина сзади казались довольно широкими, так что он производил впечатление плотного человека.

Ему было около тридцати трех лет, у него были крепкие не слишком короткие ноги. Казалось, что ему было трудно нести по мостовой свою ношу в ту сторону, в которую было нужно. Он удалился по переулкам, и тишина понемногу восстановилась. Стал слышен стук колес телеги, проезжавшей по мостовой в отдаленном квартале, из дома с разбитыми стеклами и сломанными рамами послышался плач нескольких детей. Изредка налетал горячий ветер, подымал пыль и отравлял этим блестящий, сверкающий день.

Человек задумчиво, печально шел по отдаленным кварталам, по пустынным переулкам, шел смешить людей.

Прошло полчаса после того, как он покинул свой дом и добрался до Ени-Багче, этого остатка средневековых загородных садов. Против сада находилась земляная площадка, окруженная развалившимися стенами, каждый камень которых был разрушен долгими годами. Он сорвал несколько жалких, полуувядших цветов, как-будто выросших в одну из прежних весен—несколько лет тому назад—и позабытых осенью в этом заброшенном углу. В стенах зияли большие голубые просветы, через которые поспешно вылетали ласточки и другие птицы, касаясь крыльями вершины старого замка. Он послушал крик этих птиц, напоминавший древнюю византийскую музыку. Затем он прошел к досчатой постройке, возведенной рядом с разрушенным замком, посреди попорченного веками величия, и подпертой большими бревнами для того, чтобы она не развалилась.

На дверях этого домика была привешена доска, на которой большими черными буквами по белому фону было написано такое объявление:

Пантомима знаменитого Паскаля

Здесь каждую пятницу и каждое воскресенье знаменитый Паскаль дает забавное и смешное представление.

Для приобретения благосклонности почтеннейшей публики Паскаль каждую неделю будет показывать на подмостках театрального искусства новые пьесы.

Паскаль—это был он сам. Он вошел в дверь своего театра, раскрыл мешок и облекся в широкие обычно одеваемые клоунами белые панталоны, белый кафтан с кружевным воротником и остроконечную белую шапку. Затем он подкрасил лицо, подвел нижние

веки своих черных лягушечьих глаз и через час выступил перед пустыми мозгами и беззаботными сердцами публики и начал среди громкого смеха и одобрительных возгласов свое «театральное представление». В этот день он проявил всю ловкость, все умение, дела шли как нельзя лучше. Состоявший из парусины потолок раскачивался во все стороны от ветра и освежал воздух в помещении, солнечные золотые пылинки проникали на подмостки и образовывали пыльный столб. При звуках музыки, напоминавшей жужжание насекомых, играющих в лучах солнца, танцевала старая женщина. Черты старости уже были видны на ее лице, вымазанном румянами, ее тело, состоявшее из гор мяса, свисавшего в разные стороны от усиленных и томительных движений танца, было затянуто в канареечно-желтое атласное платье.

По ходу пьесы Паскаль влюблялся в эту женщину, при объявлении в любви высывал язык, кувырчался в знак благодарности за внимание, и все это заставляло много смеяться собравшуюся публику. Один из зрителей стоял прислонившись спиной к качающейся подпорке, доставая головой до самого парусинного потолка, и, с сигарой в зубах, смотрел на представление.

— Ловко Паскаль высывает язык, — говорил он: — человек может лопнуть со смеху, глядя на это.

Это подтверждало большинство зрителей, сидевших вокруг.

В ложе около самой сцены заливалась невинным, детским смехом, успокаивающим все жизненные печали, молоденькая девушка. На ее розовых губах светилась улыбка, похожая на птичку, весело порхающую, взмахивая крылышками, — она хлопала своими нежными ручками, аплодируя Паскалю.

Ее звали Афдалия, ей было двадцать лет. Каждую неделю она приходила со своей старой матерью в эту ложу.

— Разве тебе там так весело, дурочка? — спрашивала ее мать. На это дочь всегда отвечала, что Паскаль похож на ее любимую собачку, околевавшую незадолго до того, что он напоминает ей обезьяну и что с тех пор, как она увидела его, он всегда доставляет ей удовольствие.

Паскаль всегда стремился потешить эту постоянную посетительницу его театра, любительницу зрелищ, и зачастую во время игры подходил к ней поближе, выискивая удобный случай, и падал возле ее ложи.

В этот день, одетая в белое платье, как бы окруженная улыбками утра, девушка в знак насмешливого одобрения бросила ему из ложи цветок. Цветок попал Паскалю в лицо и грудь. Он схватился рукой за сердце и издал горестный вопль, как хищное животное, раненное в самое нежное место. Несколько минут спустя он уселся на землю за сценой и в то время, как хохот развеселившейся публики еще продолжался, горько зарыдал.

Слезы текли по его лицу, смывая краску и румяна, и падали на разрушенные камни развалившихся стен.

Несчастный Паскаль любил эту прекрасную Афдалию.

Однако он хранил эту любовь в самом потайном уголке своего сердца, не говорил о ней никому, не сообщал о ней и старой служанке дома, которая раньше посвящалась во все секреты, даже сам наедине не решался думать о ней. Он никому не доверял, ни на что не полагался, страшился любовного образа, скрывавшегося в его уме и придававшего ему жизненные силы. Во всю его жизнь он не добился ни одного ласкового взгляда от женщины, никогда не видел нежного обращения. От него ждали только шутовских выходок, и вот теперь, когда в отчаянии он задыхался от слез, когда он изнывал от тоски и печали, все громко смеялись.

Да, он никому не решался говорить, даже думать не решался.

Представление кончилось. Настал вечер. Он снова забрал под мышку свой мешок и медленно пошел домой той же дорогой, которой пришел. В пути он в каком-то нервном состоянии почувствовал, что кто-то идет за ним следом, что нечто неизвестное устремило на него свой взор, желая разглядеть прекрасную Афдалию, скрытую в тайниках его духа... В волнении он осторожно обернулся. Месяц, третья сверкающая четверть его показалась над высоким куполом Айя Софии, и первые лучи его озаряли уединенный переулок. Он пошел домой, поел немного и поднялся в свою комнату. Некоторое время спустя он открыл двери, посмотрел, не бродит ли кто-нибудь по пустому дому, высунул голову в окошко, убедился, что и в переулке никого нет, и начал думать о прекрасной Афдали.

Почему она сегодня во время представления смеялась больше обыкновенного... странно... Он вынул из-за пазухи цветы, с религиозным почтением поцеловал их и поставил на самое видное место в комнате.

— Эти цветы, ах, эти цветы... они убьют меня!

Если она согласится... он украсит комнату горшками и цветами, он посадит прекрасную Афдалию на это место... Он встал и сел на пороге комнаты. Сколько забавных историй он расскажет ей, все ночи он будет смешить ее.

Вероятно, большие черные глаза, днем со смехом глядевшие на него, еще больше опьянили его.

Если б сейчас она вошла в комнату... Как идолопоклонник перед богиней красоты он склонил голову до самой земли... Долгое время он пробыл в таком положении, затем поднял голову, словно пробудившись от полного дивных видений сна:—Ах, урод, урод... скоморох...—и разрыдался. Пока он был погружен в эти долгие фантазии, на большом дереве зачирикали птицы. Настало утро. Без сил он упал в углу комнаты.

Как скоро пролетел этот месяц, и какие грустные вести принес он с собою... Афдалию, две недели не посещавшую его театра, вышла замуж. В этом доме многие годы не было слышно ни малейшего звука, а теперь оттуда доносились чьи-то рыдания.

В одну из пятниц несчастный Паскаль смешил Афдалию, явившуюся в ложу вместе со своим мужем. Затем, чтобы не видеть своих страданий, он склонил голову, поспешно пошел домой и заперся в комнате.

Утром, после полудня, старая гречанка колотила в его дверь, словно желая разбить ее, но ответа не было. В страхе и смятении она взломала дверь вместе с собравшимися со всего квартала людьми и вошла в комнату. Не успев войти, все сразу расхохотались. Паскаль изображал повешенного и со своим прославленным искусством высовывал им язык.

В жизни своей всех смешил несчастный Паскаль и в смерти никого не заставил плакать. Но на этот раз это было не подражание, это была правда,—страшная, как сама смерть.

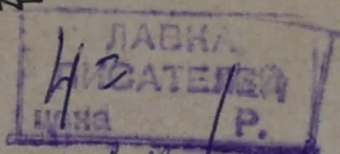
Перевел с турецкого

Е. Э. Бертельс

СОДЕРЖАНИЕ:

Предисловие <i>Е. Бертельса</i>	5
Сергюзешт, роман	13
Кючюк шейлер (мелочи):	
Кто этот великий человек	97
Ничто	100
Кошки	105
Свадьба.	111
Эпитафия	126
Пантомима	127

1000



1246/1074



ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
"ВСЕМИРНАЯ ЛИТЕРАТУРА"
ПЕТЕРБУРГ
Моховая №36